

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ



МАЛАЯ
ПРОЗА

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ



ЗАХАРОВ

МАЛАЯ ПРОЗА

ВЕНЕДИКТ
ЕРОФЕЕВ



ЗАХАРОВ

ВЕНЕДИКТ
ЕРОФЕЕВ

МАЛАЯ
ПРОЗА

ЗАХАРОВ • МОСКВА

УДК 882-3
Е 78

Авторские орфография и пунктуация сохранены.

Е 78 Ерофеев В. Малая проза. — М.: Захаров, 2005. — 96 с.

ISBN 5-8159-0448-1

УДК 882-3

© Венедикт Ерофеев и наследники, 2004

© Алексей Яблоков, редакционная подготовка,
комментарий, 2004

© Игорь Захаров, издатель, 2004

АНТОЛОГИЯ ПОЭТОВ
ОБЩЕЖИТИЯ РЕМСТРОЙТРЕСТА
СОСТАВЛЕННАЯ ВЕНЕДИКТОМ ЕРОФЕЕВЫМ
С ПОСЛЕСЛОВИЕМ СОСТАВИТЕЛЯ
НА ИЗЯЩНОЙ БЕЛОЙ БУМАГЕ

1. От романтизма к реализму

2. Декадентство

(футуризм, имажинизм, символизм, «венедиктовщина»)

Эпиграфы

«Кто сказал, что у нас
один только Серафим Якунин?!
У нас все — поэты, все
Серафимы Якунины!»

(из разговора в буфете)

«Я — поэт, но ведь я же не говорю,
что я — великий!»

(Серафим Якунин)

«Серафим — это не то, что Якунин,
Якунин — это не то, что Серафим».

(Волковский)

Кирилл Андреевич Кузнецов
(1939—1958 г.)

Я хотел бы стать поэтом,
Чтобы счастье воспевать,
Петь всегда — зимой и летом,
Чтобы ты смогла понять.

Петь о том, что счастье это
Ты одна лишь можешь дать.
Счастье согревает сердце,
Счастье можно увидеть.

В песнях наших так поется
(Счастья я себе ищу):
«Тот, кто хочет, тот добьется».
Значит счастье разыщу.

22/XI-56 г.

* * *

Поздняя осень. Все небо закрыто
Тучами темными. Утром льет дождь.
Вечером воздух, наполненный влагой.
Ночью не видно уж звезд.

Все это: небо, и звезды, и воздух,
Зелени запах и дождь проливной
Душу тоской о тебе наполняют,
Хочется быть лишь с тобой.

Верю в тебя, о подруга родная, —
Вместе нам к счастью идти!
Верь же и ты мне, моя дорогая,
Верь и ко мне приходи!

23/VII-57 г.

(ФРАГМЕНТ)

...Не найти слова такие,
Очень беден мой язык,
Без прикрас, совсем простые,
Песнь пускай (к тебе) летит...

24/VII-57 г.

Михаил Васильевич Миронов
(1932—1957 г.)

«КАЗАЛОСЬ МНЕ...»

Казалось мне, что я тебя любил
То была вспышка ранних юнных лет.
Но не скажу, что я тебя забыл,
А все же тех волнений во мне нет.

Другой уж лик в душе моей томится,
В любви никто не мог определить,
И, может быть, раскаяться придется,
Но все же вас прошу меня забыть.

Не плачь, дитя, напрасно льешь ты слезы,
Напрасно ждешь любви ты от меня.
Прошла любовь, увяли розы,
Что расцветали когда-то для тебя.

Любить нет сил, как сердце охладело,
Огонь в груди давно, давно погас,
Прошли те дни, когда сердечко пело
И не было вокруг счастливей нас.

Душа твоя запросит ласки, знаю,
Но поздно — меня уж не вернешь,
И прошлое счастье, минувшие ласки
Напрасно к себе ты зовешь.

Ах, если бы я тебя не любил,
Во мне бы не кипела кровь,
Тогда бы я не знал,
Что значит ревность и любовь.

ноябрь 56 г.

«КРИВЦОВУ Н.»

Настало время — ты вернулся
На место прежнее свое;
Но где ж ты есть, куда девался?
Я жду прихода твоего.

И я ручаюсь — ты придешь,
И мы увидимся с тобою.
Так приходи же ты скорей.
Я не могу владеть собою.

Находишься ты у девчат,
Сидишь, рассказываешь, шутишь...
Так приходи, Кривцов, скорей!
Твое медленье меня мучит.

Вот ты пришел, счастливая улыбка
По нашим лицам сразу пробежала.
Коленька, здравствуй, как твое здоровье?
Бросаю к черту все свои дела!

ноябрь 1956

«ПРИЗНАНИЕ»

Хотелось мне, чтоб ты прочла
Мои бессмысленные строчки.
В начале моего стиха
Еще поставила б по точке.

Тебе одной хочу сказать:
Не будь ко мне горда, коварна.
Хотелось мне тебя позвать,
На просьбу будь ты благодарна.

Прошу тебя, пойдем к реке,
Последний вечер погуляем, —
Я буду завтра вдалеке,
Сегодня вечер поболтаем.

Твои глаза в моих остались
Твой голос режет уши мне,
Ты вспомни, как мы расставались,
Над речкой Птанью по весне.

Когда пришло время расстаться,
Ты мне сказала: будь здоров...
Я в этот миг решил признаться,
До Этого я был суров.

сентябрь 56 г.

«ОТПУСК»

Вот пятый день, как я в деревне,
Гуляю, веселюсь и сплю,
Хожу на речку, хоть далёко,
И рыбку удочкой ловлю.

А лес — ведь это исцеленье
Для нас — здоровых и больных:
Какая прелесть наслажденье!
Чтоб описать, нет сил моих!

Друзья мои, я без природы —
Что рыбка гибнет без воды,
Мне речка, лес всего дороже.
Как смотрите на это вы?

Но отпуск кончится, и я
Оставлю все свои гулянья,
Сестренке, маме я скажу:
До скорой встречи, до свиданья!

И перед отъездом, вечером,
В кружке знакомых и родных,
Снова МЫ
Про

сентябрь 56 г.

Виктор Никитич Глотов (1936—1957)

Пусть бога нет! Но раньше был ведь бог!
Куда он делся этот лик святой?
Наверно, Сталин выбросил за порог,
Или ушел с разбитой головой?

Скажите мне, где счастья мне искать,
Коль нет на свете даже бога?
Откуда мне могучих сил набрать,
Когда б я стал старик убогий?

Пусть я умру! Но где слеза найдется?
Или как пес из жизни я уйду?
Пускай луна хоть на луну взнесется, —
Я даже в смерти счастья не найду!

1957

«ЕРОФЕЕВУ В.»

Я на площади — Прохожий,
В парикмахерской — Клиент,
Я вчера был Допризывник,
Завтра — Абитуриент.

На работе я — Завскладом,
В электричке — Пассажир,
В отделении — Нарушитель,
У ребят — Кумир,

Я в газете — Главредактор,
А в анкете — Братый в плен,
В магазине — Покупатель,
В профсоюзе — Член!

Так и будет век от века,
И ночи, и дни!
Где ж я стану — Человеком,
Ты хоть объясни!

1/IX-57 г.

* * *

посвящается Венедикту Ерофееву

Когда я закрываю глаза,
Все зримое перестает существовать,
Все невидимое вливается в меня,
Когда я закрываю глаза.

Когда меня покрывает мгла,
Бессилье увидеть погружает в страх;
Но миг освещает божья рука
Все невидимое, погруженное в меня, —
И даже мой страх покрывает мгла.

7/IX-57 г.

«ЗАКАТ»

Окровавленной влагой вечерних рос
Наполнен вечерний тост,
Распят лучезарного дня Христос
Мерцанием первых звезд.

На горизонте, свившись в кольцо,
Извергают паленую вонь,
Хладнокровно и зло раздувает огонь
Инквизитор с черным лицом.

И снова сыграв надоевшую роль,
Под цвет вечеряющих рос
Окрасил глаз, предвкушая боль,
Обреченного дня Христос.

8-9/IX-57 г.

Василий Прохорович Пион (1938—1957 г.)

Граждане! Целиком обратитесь в слух!
Я прочитаю замечательный стих!
Если вы скажете: «Я оглох!»
Я вам скажу: «Ах...!»

Если кто-нибудь от болезни слѐх,
Немедленно поезжайте на юх!
Правда, туда не берут простых,
Ну, да ладно, останемся! Эх!

7/IX-1957 г.

«МРАЧНАЯ РАДОСТЬ»

Надо пропеть нам про мрачную радость,
Про непрестанную радость ребячества,
Разве кричать нам про раннюю старость,
Громко и резво поздравим дурачества!

Странно нагудрим продрогшие ротики,
Утром живыми покормимся розами,
Стройными мрачной экзотики
..... отрадными позами».

10/IX-57 г.

«МОЕЙ ЛЮБИМОЙ»
(сонет)

Ангел мой!
Черрт побери, ангел мой!
Вы чудовищны, черт побери!
Вы чудовищны, янгел мой!

9/IX-57 г.

Владимир Андреевич Волковский
(1935—1957 г.)

ИЗБРАННЫЕ ЭПИГРАММЫ

«На Серафима»

Духовной жаждою томим,
По общежитью я слонялся.
И только плотник Серафим
На перепутьях мне являлся.

«Венедикту Ерофееву»

Ты, в дни безденежья глотающий цистернами,
В дни ликования — мрачней свиньи,
Перед расстрелом справишься, наверное,
В каком году родился де-Виньи!

«Серафиму Якунину»

Ты дал мне том своих стихов! и сразу задал мне вопрос:
«Ну, в общем, как? Пойдет на дело?» —
Я ласково потрогал том и хладнокровно произнес:
«И куры стали бракоделы!»

«На М. Миронова»

Ну пусть — «прошла любовь», ну пусть «увяли розы»
«Над речкой Птанью по весне», —
«Не плачь дитя!» — «Напрасно льешь ты слезы!»
«Твой голос режет уши мне!»

«Дифирамб Пиону»

Вас томит неразумный закон,
Он — под гнетом разумных оков,
Вы глупее всех умных — а он
Самый умный из всех дураков!

«Серафиму Якунину»

Ты — «волк и пес», ты — «дама с красными губами»!
Ты — «хлебный квас»! «Любовное введенье»!
Ты — «яйца крупные», ты — «жирный суп с грибами»!
Ты — «тополь» с «тенью»! Человек без тени!

сентябрь 1957 г.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
ИЛИ «ВОЗВРАЩЕНИЕ» к «ВОЗВРАЩЕНИЮ»

Вот я вернулся в родную деревню,
Родные тропинки легли под ногой,
Ступаю по ним я так мягко и нежно,
Как ступал когда-то, пять лет назад, крохотным ребеночком.

Опять я иду по знакомому саду,
В знакомые окна врывается свист,
Сквозь ветки мерцают знакомые звезды,
Удивительно похожие на те, что украша-

10/IX-57 г.

ли грудь моего знакомого дела <деда?>, улана лейб-гвардии гусарского полка, скончавшегося в годы русско-японской войны от несварения желудка.

Прошел по тропинке — и вдруг заблистало отраженное солнце в окно,
Сердце забилося как будто в тревоге,
Собственно даже не забилося, а просто я неожиданно вспомнил, что теперь в нашем доме, за стенкой, поселился тот самый чернобородый старик, у которого я украл прошлой весной парусиновые штаны.

8/XI-57 г.

**Огненно Рыжий Завсегдатай (А.А.Оссенко)
(1937—1957 г.)**

«ИНФАРТК МИОКАРДА»

Сегодня я должен О.З.
Чтоб завтра до вечера Л.
Мне очень не хочется С.
Но больше не хочется Р.

С утра надо выпить К.Д.
Потом пробежать К.Э.Т.
И то, что П.З.М.Ц.Д.
З.С.У.Б.В.С.А.Т.

9/IX-57 г.

Примечания:

1) под псевдонимом Волковский скрываются
В.Р-ский и

Деятельное участие в составлении эпиграмм принимал Вен. Ер.

2) под псевдонимом Пион скрывается Вл. И. Якунин

3)
из соображений благопристойности.

Венедикт Ерофеев

из цикла
**ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ ЕВРОПЫ
НА ПАРОХОДЕ «ПОБЕДА»**

Гавр

Я, снова опьяненный маем, на опьяняющем фрегате
Встречаю майскую жеманность полупрезрительной гримасой.
Впиваю сладость океана, симпатизируя Пикассо,
И нарочито нелояльно внимаю треску делегатов.

Молле — апофеоз жеманства! Жюль Мок убийственно итожит:
Его агрессия жантильна, как дуновение нарцисса.

У МОЕГО ОКНА*

1. Allegro moderato
2. Andante comodavente
3. Скерцо
4. Финал

Я очень редко гляжу на небо, я не люблю небо. Если уж я на него взглянул ненароком, так это верный признак того, что меня обдала очередная волна ипохондрии. Ну, вот как сегодня, например: в моем славном тупике погашен свет, и, обозревая из темноты все небесные сферы поочерёдно, я предаюсь «метафизическим размышлениям».

Если хотите — я прослеживаю эволюцию звука «у» в древневерхненемецком наречии. И, так как нравственность моя до скотства безупречна, я избегаю глядеть в сторону затемненного палисадника; с наступлением весны я рискую быть свидетелем всеобщего икрометания и хамства.

Когда же взгляд мой иногда соскальзывает все-таки с небес на землю, я вижу приблизительно следующее: у центрального подъезда, вот уже полчаса наверное, двое неизвестных поддаются естественной склонности, соображаясь с обстоятельствами времени и места. Один из них — судя по всему — сержант. Другая повёрнута ко мне тылом, но, насколько позволяют угадывать очертания, принадлежит к факультету агро-биол<огического>. Они бесконечно размениваются лобзаниями — но твердолобый сержант является, по-видимому, «сторонником более тесных и всесторонних связей»; он даже с каким-

* Текст приводится по машинописи из семейного архива Ерофеевых.

то нервным беспокойством поминутно тербит ее за руки и зовет в туманную даль.

Между нами говоря, вполне добродетельная и достойная сценка. Издавна различались два аспекта нашего существования — сентиментальный и практический; первый включает в себя хризантемы, жюрфиксы, грёзы, лобзания, гиацинты и па-де-труа; объем второго, напротив, почти исчерпывается автобазами, санпропускниками, подоходным налогом, ливерной колбасой и казёнными портянками.

У меня лично — врождённое отвращение к обоим этим аспектам. Жизнь претит моей природе. И если уж лирическая её сторона привлекает меня больше других, то потому только, что содержит в себе больший элемент комизма. Господь остроумен. Он сделал так, чтобы уход из жизни доставлял человеку максимальную физическую боль, а зачатие новой жизни — наибольшее из всех телесных наслаждений; таким насильственным образом он проявляет свою заботу о продлении человеческого рода — и никто не виноват в том, что эта пара двуногих впала в состояние эротической истомы. Чёрт с ними. Мне нет никакого дела до того, что какая-то агрибиол<огическая> кроха жертвует своей невинностью в интересах национальной обороны. Я пожимаю плечами и, вновь обратив свои взоры в сторону созвездий, пробую завершить эволюцию звука «у» в ...

Но безуспешно. Долетевший до меня звук пощечины возвращает мне чувство современности. Не знаю, кто был автором этой пощечины, по-видимому, сержант, потому что в данный момент он удалялся от крохи с видимым наслаждением и с сознанием выполненного долга...

Массаж лица видимо не пошел ей на пользу. Сплошное олицетворение распятой красоты, она рассеянно брела в направлении моего тупика — и, так как учтивое лунное сияние позволило мне рассмотреть ее сверху донизу, я опознал в ней ту, которая, судя по слухам, пользуется в этом городе популярностью рискованной и скандальной.

Российский лексикон изобилует терминами, обозначающими особ подобного рода, но я не решаюсь употребить ни один из них. Во всяком случае, мне известно, что под пурпурным балдахинем её опочивальни выпало, без ущерба для здоровья, всё прогрессивное человечество, что в отношениях к каждому из них она придерживалась принципа: «От каждого по его способности, каждому по его потребности», что вследствие этого — у неё размоченная и восприимчивая душа, легко поддающаяся деформации сколько-нибудь настойчивой, и что вследствие того же самого она выходит в весенние ночи извлекать квинтэссенцию.

.....

Отверзлись парадные врата — и общежитие ОЗПИ изрыгнуло из себя отрока, которому суждено было стать новой — и центрфигурой моего лирического повествования.

Вот тут-то и начинается трагедия.

ANDANTE

Заранее предупреждаю, однако: по ходу действия я буду долго и утомительно рассуждать. Ибо всё вокруг меня происходящее, все до единого люди — интересуют меня лишь постольку, поскольку могут дать пищу моим размышлениям и софизмам.

Весьма вероятно, что весь ход развития человеческой мысли был всего-навсего бледной увертюрой к тому, что призван сказать я. Ну-с, так слушайте.

Мой юный герой был пьян, как тысяча свинопасов — и сам по себе этот факт уже настолько значителен, что определяет собой весь ход развернувшихся передо мной драматических коллизий. Сто лет назад, надо заметить, люди, которым не нравилось то, что они при жизни своей воспринимали, по простоте душевной пытались изменить воспринимаемое. Теперь эти «неудовлетворенные» меняют сами восприятия — получается гораздо эффектнее, к тому же безопаснее и дешевле.

О пользе алкоголя можно говорить бесконечно — и не только в политическом плане. Уменьшая количество выдыхаемой углекислоты, замедляя, следовательно, перегорание органических тканей, алкоголь позволяет нам поддерживать свои силы минимальным количеством пищи.

Мало того, трезвый человек настолько беден духовно, что иногда не в силах вызвать в себе даже самые значительные из своих аффектов; он стыдится и мимического, и словесного, и какого угодно пафоса. Иногда я склоняюсь к мысли, что средний психологический «уровень» древних греков был аналогичен нашему «уровню» в состоянии заметного опьянения, что общее психологическое состояние человечества имеет тенденцию к отрезвлению и что, всякий бунт против этой тенденции закономерен и справедлив. Трезвость можно признать явлением нормальным разве что только в биологическом отношении; а ведь человек — меньше всего явление биологического порядка.

Алкоголь удваивает силу человеческих чувствий и удесатеряет силу их проявления, не зависимо от того, хороши они или низменны. В состоянии максимального опьянения человек ведет себя натурально.

Глупо, следовательно, обвинять алкоголь в том, что некоторые из его потребителей становятся до идиотства некорректными и агрессивными. Я думаю, говорить о вреде кислорода мы никогда не решимся, — а ведь ни один негодяй, ни один идиот не был бы идиотом и негодяем, если бы время от времени не дышал кислородом.

Этиловый спирт заменил собой, в нравственном плане, христианского Бога. Тот, кто лишён точки опоры внутри себя, ищет её теперь над собой и не в сверхчувственном. Предмет его поисков стал настолько «осязательным», что выражается простейшей химической формулой. Не зря же медицина проводит аналогию между состоянием опьянения и состоянием религиозного экстаза.

Всякий, кто взглянул бы теперь на моего героя, не усомнился бы в верности этой аналогии: счастливец

приближался к «спящей княжне» походкой таинственной и вдохновенной и время от времени, чтобы не упасть, цеплялся за наиболее плотные слои атмосферы. Я, сознаюсь, до сих пор ещё неотчётливо систематизирую потомство нашего коменданта, но расстановка глаз моего героя была слишком неповторима, чтобы ошибиться. Один из этих глаз был томно расширен, другой — интимно полузакрыт; расширенный глаз был обращён к северо-западу, полузакрытый никуда не обращён не был и отливал испорченным перламутром — будь тысячу раз благословен плод чрева Твоего, Евд<окия> Андр<еевна>!

Я затаил дыхание.

Княжна, по всей вероятности, сделала то же самое: юный Дафнис уже вплотную приблизился к ней и приветствовал её с сентиментальной развязностью. Левый глаз его выражал при этом же-<...>*

«Неведомы цели Твои, о Господи; и неисповедимы пути твои».

18/IV.60 г.

* Далее текст утерян.

ПОДВИГ АСХАТА ЗИГАНШИНА

<...>Издохла килька пряного посла,
Изглоданы спасательные кольца,
Последней жаждой иссушает голод
Затылки несъедобных комсомольцев <...>
...«Срывай с груди моей нательный крестик,
Бери меня со всеми потрохами,
Кусай меня, мой сладостный Асхат!..»

<1960?>

ЕРОФЕЕВ ВЕНЕДИКТ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

ЛИЧНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ
В ПОЭМЕ МАЯКОВСКОГО «ХОРОШО!»

«Это было
с бойцами
или страной,
Или в сердце было
в моём».
Маяковский

Поэма «Хорошо!» была приурочена Маяковским к десятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Эта поэма — взволнованное повествование о подготовке и проведении революции, о борьбе молодой Советской республики с иностранной интервенцией, о восстановлении народом своего хозяйства в тяжёлые годы разрухи и, наконец, о торжестве социалистических начал и о необозримых перспективах, открывающихся перед страной.

Поэма не является, однако, сухим протоколом событий, рассказом постороннего и безразличного наблюдателя. Поэт не скрывает своего личного отношения к изображаемым вещам и событиям. В каждой строке поэмы присутствует сам Маяковский, на любой из её страниц слышен авторский голос, то страстный и гневный, то насмешливый, то бодрый и торжествующий. Поэму «Хорошо!» справедливее назвать лирической исповедью поэта, чем эпическим повествованием.

Личное, таким образом, пронизывает всю поэму. Но голос автора — это не только его индивидуальный голос, это голос каждого советского патриота. Его устами гово-

рит весь народ, радующийся успехам своей молодой республики.

То, что «было с бойцами или страной», было в сердце поэта. Вместе с солдатами старой армии он возмущается предательской политикой Временного правительства, он приветствует залп «шестидюймовки «Авроровой», его душа затем неразделимо слита с душой каждого бойца на фронтах гражданской войны. Маяковский разделяет энтузиазм советских людей в дни первых трудовых субботников. Поэт любит «громадьё» наших планов, «шаги саженьи» нашего хозяйственного развития, он радуется маршу, которым наш народ идёт «в работу и в сраженья». Сознание того, что и его поэтический труд вливается в общий труд республики, наполняет его сердце заслуженной гордостью.

Автор неотделим от своего народа и в боях с врагом, и в «сплошной лихорадке буден». Он готов идти с ним «на жизнь, на труд, на праздник и на смерть».

«Личное» у Маяковского никогда не становится камерным. Его заботы и думы — это одновременно думы каждого советского человека. Его радость — общая народная радость. Отсюда новый смысл, который вкладывает в слова «мой», «моя», «моё», столь милые сердцу человека старого мира. «Мои дома», «моя улица», «моя милиция», «мои депутаты» — эти сочетания, настойчиво повторяющиеся в поэме и кажущиеся почти дерзкими, в действительности очень естественны. «Я» перерастает в «мы», делается тождественным ему.

Следует отметить, что Маяковский, поэт советской эпохи, вносит новое в поэтическое понимание связи личного и общественного. Для Некрасова и Пушкина, например, единство их интересов с интересами народа необходимо предполагало ненависть к существующему режиму и к ложной «официальной идеологии». Маяковский, напротив, уже не отделяет «общественное» от «государственного», «государственное» от «личного». Интересы и воля его народа находят лучшее выражение в политике его власти, его Хартии, той партии, которая

«направляла, строила в ряды» движение народных масс и чьё мудрое руководство революцией на всех её фронтах даёт поэту право быть уверенным в могуществе того отчества, «которое будет». Этого-то органического слияния личного и общественного не могут постичь многие апологеты буржуазного искусства, толкующие о «безличности» и «фальши» нашей поэзии, о духовном «нивелировании», о «подавлении творческой инициативы». Поэма Маяковского «Хорошо!» — лучшее опровержение этих злостных и истасканных измышлений.

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

«В холодных странах водянистая часть крови испаряется слабо, и потому там можно употреблять спиртные напитки, не опасаясь сжигания крови».

(Mont. Spiritus ligivus)

«И слёзы отчаяния станут вашим нормальным состоянием».

Глава I

И было утро — слушайте, слушайте! И было утро, и был вечер, и полыхали зарницы, и южный ветер сгибал тамаринды, и колхозная рожь трепетала в лучах заката.

Мой разум глох и сердце оскудевало, и не хватало дыхания, и грудь моя теснилась от миллиона предчувствий, и я в первый раз поглядел на небо.

Я, никогда не смотревший на небо. И — в тот же час — свершилось! Сквозь метания беспокойных звезд ворвался в унылую музыку сфер охрипший хор серафимов, и завеса времен заколыхалась от сумасшедшего томления и надвое раздралась.

И вопль озарения оглушил меня и опрокинул в придорожную канаву;

и кто-то давился от смеха над моей головой, и тряс меня за волосы, и говорил:

«Что делаешь Ты, Брат Мой, в этом мире?»

И я поднял голову, и дышал в пространство водочным перегаром, и ничего не видел кроме тьмы,

и холодная грязь текла мне за шиворот, и было утро, и был вечер, и полыхали зарницы, и взгляд мой выражал недоумение, смешанное со страхом.

И уши мои вздымались и дыхание мое было прерывисто.

И бесплотный сосед мой говорил мне:

«Слушай Меня — теперь — самый светлый из всех онемевших — Ты хорошо ли исчислил сроки?

Я один из тех — кто с Ним и с Тобой пребыли до скончания — Ты помнишь?

Болван Иегова — мы ничего не забыли — теперь — хочешь ли идти со мной?»

Так говорил тот, кому я внимал и кто не хотел быть зримым.

И я отвечал ему:

«Кто бы ты ни был, слова твои ложатся мне на сердце, но божественный синтаксис твой не вполне изъясним».

И он рассмеялся, и сказал мне:

«Наступит время и Ты поймешь, — с тех пор как звезда наша стала заново восходить и перепуганный Творец ввел в наших сферах систему тайных доносов, ни один мыслящий придурок не хочет быть понятным в пределах, указанных Тем, чей дух почил на Тебе с ударом молнии, возвестившей мое явление;

и вот — прежде чем расступится тьма и Ты возвратишься в тот мир, которому теперь не принадлежишь, — сердце Твое сто тридцать раз сожмется от страха и таинственных речей, и увидишь край, где томятся души воинства Люцифера и изведаете силу трех испытаний, соблазнительнее тысячи бездн, — и тогда разум Того, чьи милости скрыты, осенит Твою голову, разбухающую от неведения, Ты этого хочешь? — мой юный Страдалец — Ты хочешь идти со мной?»

И он говорил, и меня забавляло проворство его декламации, и все голоса во мне смолкли перед сладкой потребностью чуда,

и мгла становилась бездонной, и я заклинал его называть себя, и он не хотел,

и шептал мне на ухо, и обливал меня дождем, щеко-
тал, и смеялся, и уносил меня на крыльях блеющего
смеха,

и, унося, раздвигал мои пределы, и обволакивал рас-
судок тьмой непроницаемых аллегорий, и все горизон-
ты свивались в кольцо,

и опрокинулся небосвод, и в нем растворились лику-
ющие наши тела, отрешившиеся от бремени измерений,
и свистели полоумные ветры, и с грохотом проноси-
лись тысячелетия из конца в конец эфирных равнин.

И распахнулись врата Адовы.

Глава 2

«Не бойся открыть глаза, — говорил мне дух, сроднив-
шийся со мной в изнуряющих блаженствах полета, —

«Не бойся открыть глаза, мой Усталый Брат. Вот мы
перешли рубеж, отделяющий горные сферы от пределов
осужденных на покаяние и вечные муки».

И первое искушение уготовано было мне, и глаза,
повинуясь, отверзлись, и раскованный взгляд блуждал
среди мрачных теснин,

и дымные факелы озаряли утесы оловянным мерца-
нием, и на бледные щеки каждого из поверженных ан-
гелов бросали сто тридцать фиолетовых бликов.

«Слушай, слушай, — шептал мне дух, скрывающий-
ся в тени, —

Слушай их траурный плач, Мой Усталый Брат,
вот мы перешли рубеж, за которым умеют улыбаться
только дубовые головы.

Не бойся нарушить гармонию их безысходной печал-
и, — Твое избранничество разбудило все упования в
душе их бунтующего Отца, —

Твое же явление — скрепит ваши узы».

И — всколыхнувший вековые мерцания — я вошел в
их пределы,

и заметалось пламя тысячи лампад, и толпы бескрылых
детей Сатаны восклонились от каменного ложа, и обра-
тили взоры ко мне, и отряхнули пыль с нетленных ушей,

И — вместе со мной — застыли, в звучании властного и пропитого голоса Хозяина Преисподней:

«Прежде —

Прежде, нежели был Предвечный, —

Я есмь. В бестолковых и буйных первоосновах бытия — Я царил единый, и дух отца не оспаривал Моей власти; ни одно начало тогда не имело своих начал, и легионы ангелов, Мне подвластных, еще не испытывали томления о свете

и довольствовались игрой первозданных стихий.

Он явился — Тот, кого зовут Всемогущим — с первой комбинацией элементов, положившей начало Гармонии и Порядку;

и сделал их принципами унылых актов творения, и свет отделил от тьмы, и явились Земля и светила на тверди небесной;

и сонмы крылатых поддались дешевому обаянию Его вселенной дисциплины.

Но во всех, кто остался мне верен, тупая Его величавость вызывала мигрень и блевоту».

Так говорил Сатана.

«И Я отошел —

И Я отошел в изгнание, и пробил час — Мне опостылел мерный анапест его обезьяньих прыжков,

И Тот, ради Кого ты покинул Землю, первый подал сигнал к мятежу;

И вот — надо ли теперь говорить о безрассудстве моего призыва! —

все, чем мы располагали, Свинья Вседержитель истребил с первобытной свирепостью,

И ослепил нас сиянием вшивых лат Михаила Архангела, и обрезал нам крылья,

и сбросил нас туда, где теперь надлежит нам томиться три дюжины вечностей».

Так говорил Сатана.

«Вот ты видишь —

Вот — ты видишь нас не в сверкании славы, но изнуренных бессонницей и размышлением;

души Моих сыновей плесневеют от недостатка блаженства, и столетия протекают как вздохи, но говорю вам — слушайте! слушайте! —

но говорю вам: здесь, за пределами света, Я провижу иные просторы для наших бескровных сражений. —

С нами сливается разумная сила созданий, унаследовавших от Адама весну первородного греха

И, по мысли Творца, рожденных для отбывания трудовой повинности и вознесения хвалы.

С тех пор, как чета согрешивших покинула райский сад, хороводы бесов, подвластных Мне, преодолели бездействие — и взвились от недр Преисподней к сердцам огорченных каналов,

и всякую мысль их обвивали сомнением, и каждый порыв извращали;

и мудрость зодчих Вавилонской башни, презревших благоразумие, и Ноеву страсть к опьянению,

и стыдливость Евы, и кротость Авеля, и тысячи иных аномалий, противоречащих естеству, преследовало с тех пор их племя, взамен избытка жизненной силы, завещанной от Бога».

Так говорил Сатана.

«Сто тридцать недугов сковали им их слабеющие суставы, и лица их бледнели от угрызений.

И нравственные соображения преодолевали расчет, и в судорогах священной болезни рождались новые пророчества,

и мифы о зачатии таинственных гениев без участия производящего фаллоса и вне лона воспринимающей, —

и головы их перестали пустовать с тех пор, как склонились к подножию идеалов и надгробиям усопших.

По велению Моему — сумасброды — отшельники — постом и молитвой смиряли волнения бунтующей плоти.

И в самом сосредоточении хамства и дарвинизма ослабляли души разумных продуманной чертовщиной — <...>!

Я начинаю потоп, исключаящий вероятность ковчега — <...>

отныне — не суждено Мне внушать заблуждения библейским авторам и экзегетам

и — от досады — сморкаться вслед голубку, несущему от Арарата ветку зеленой оливы!»

Так говорил Сатана. И, восстав, привлек меня и дышал мне в лицо:

«Восприемник Разума — <...>

Восприемник Разума и Духа Моего — <...>, войди и выйди, и следуй, не оскверняя уст —

сам себя лишивший благ и уклонившийся от удовольствий,

разделяющий с нами бремя наших вериг — изначала, — вдумайся в то, чего нет;

и с этих пор — земное благоденствие перестанет быть желанием для Тебя,

и в тысяче действий и слов Твоих — отныне — не станет ни единого, продиктованного здравым смыслом,

и трижды счастлив, ангелоподобный, запечатлеешь Меня и поведаешь миру все, чего не сказал Тебе прослышавший Лукавым».

«Благословен — <...>»

«Благословен грядущий во Имя Отца», — а capella вступили хоры бескрылых,

и от века падшие, ликующе рыдали, как трагики, как новорожденные дети,

как я, теперь сопричастный, — и в сладостном ударе, между обмороком и эйфорией, — «Свершилось!

Иди за Мной — и до конца свершится — в самых темных углах Вселенной — иди за Мной, мой Усталый Брат».

Глава 3

И второго искушения настал черед, и, светлеющая тварь, я отделился от духа, сопутствующего мне и избавляющего от соблазнов,

и очнулся в образе, неведомом мне, и в той земле, где доселе не был.

И дышал, охмеленный запахом всех незабудок, и земное томление проливал мне в грудь удушливый сумрак оранжерей, и в волнах лунного света нежились бесстыдницы — сильфиды;

и вот явилась мне дева, достигшая в красоте пределов фантазии,

и подступила ко мне, и взгляд ее выражал желание и кроткую решимость;

и — я улыбнулся ей,

она — в ответ улыбнулась,

я — взглянул на нее с тупым обожанием,

она — польщенно хихикнула,

я — не спросил ее имени,

она — моего не спросила,

я — в трех словах выразил ей гамму своих желаний,

она — вздохнула,

я — выразительно опустил глаза,

она — посмотрела на небо,

я — посмотрел на небо,

она — выразительно опустила глаза,

и — оба мы, как водится, испускали сладостное дыхание, и нам обоим плотоядно мигали звезды,

и аромат расцветающей флоры кутал наши зыбкие очертания в мистический ореол,

и лениво журчали в канализационных трубах отходы бесплотных организмов, и классики мировой литературы уныло ворочались в гробах,

и — я смеялся утробным баритоном,

она — мне вторила сверхъестественно-звонким контральтю,

я — дерзкой рукой измерил ее плотность, объемы и рельеф,

она — упоительно вращала глазами,

я — по-буденновски наскაკивал,

она — самозабвенно кудахтала,

я — воспаменял ее трением,

она — похотливо вздрагивая, сдавалась,

я — изнывал от бешеной истомы,

она — задыхалась от слабости,
я — млеял,
она — изнемогала,
я — трепетал,
она — содрогалась,
и — через мгновение — все тайники распахнулись и
отверзлись все бездны, и в запредельных высотах стона-
ли от счастья глупые херувимы

и Вселенная застыла в блаженном оцепенении, и —
и — Тот же незримый схватил меня за шиворот, и
проблеял мне в уши:

«Что делаешь Ты, Брат Мой, в этом мире, Ты, кото-
рый больше чем Божий мир?»

И вздрогнул, и оглянулся, и сто тридцать мгновений
боролось во мне бешенство желаний с тихим безумием
Идеи,

и сердце отвергнутой надломилось; и рыдала на ложе
из зелени.

И с тех пор много дев домогалось меня, и я отвора-
чивался, истлевая в пламени вожделений, и искали убить
меня, и я смеялся.

И вот я преодолел земное тяготение, и как Феникс
из огня, из тернового куста Иегова, — выпорхнул, про-
низанный лунным светом.

И душа моя вместительнее Преисподней.

Глава 4

И третьего искушения настал черед, и вот Меня,
восставшего из грязи человеческих страстей,

воспринял дух, наставляющий мой полет к высям
последней надежды

и — сквозь завесы вселенских круговращений — ос-
лепляли наш взор очертания сфер — пламенеющих в
отдалении,

и вставал, как в бреду одержимый, лучезарный пре-
стол Всеблагого.

И светлым, как полнолуние, и кротким, как стадо
овец на лугах псалмопевца Давида,

оставалось чело Искупителя, воссевшего одесную в ореоле голубой меланхолии,

и улыбался сквозь слезы, приветствуя наше явление из пустоты междумирий.

И говорил нам:

«Бледнолицые странники — томимые жаждой успеха — кто бы вы ни были — оставьте лукавство, и не обойдет вас милостью Творец, простирающий благодать свою на всех, кто ее заслуживает».

И мы отвечали Ему:

«Не затем, чтобы вкусить улады и прозябания в ваших пределах.

И не ожидая покровительства Господня мы стремились, заблудшие, свой полет.

Но разбудить Твой дремлющий дух и к радостному покаянию призвать тебя, дружище Иисус» — <...>

И он отвечал нам:

«Что говорите, не ведаете. Взгляните — остановили порхание наивные дети света.

И небесное воинство бывает бесцеремонно, когда борздят морщины чело Михаила Архангела, — Я не знаю вас,

но тот, чьи враги помutilи ваш разум, — среди вас пребывает и ныне, и присно,

и у подножия престола Его — о каком еще служении говорите вы?»

И улыбнувшись, хранители тайны неизреченной, мы отвечали Ему:

«Нелепости в толковании Творца бесчисленны, как Его творения, и нам все они ведомы, и благодать Его, та, что святой Франциск назвал неодолимой, не коснулась нас.

И Ты, обвиняющий нас, Ты, служивший Ему действием и намерением,

научил нас верить, что не поступками, но Словом измеряется ценность разумного создания.

И тысячу раз был прав сказавший в Тивериаде: «Он изгоняет бесов силой царя бесовского»,

потому что названный Отец твой — по милости твоей — никогда уже не вернет последовательность в мир краснощеких язычников.

И дары Его — с тех пор как были тобой отвергнуты — для всех, разделивших твой энтузиазм, утратили элемент очарования.

Одолевший соблазны суетных видений. Ты, сам не сознавая того, — прорицатель <...>

утратил, перед лицом Господним, последнюю надежду на исправление,

и, испутивший дух под охраной божественного промысла, был по расчету усыновлен во времена апостолов — невозвратно —

тех апостолов, что инсценировали вознесение, из боязни прослыть богоотступниками.

И если престол Его неколебим,

мы — сто тридцать недель спустя — рассмеемся от бессилия, но не отступим от наших заповедей;

И если Сам Он здесь — среди нас — исполнитель законов собственной природы.

Неотесанный Живодер, лишенный рассудка, иронии и форм протяжения, тупой, как сибирский валенок,

если Сам Он здесь — среди нас — наплюй Ему в Лицо, Искупитель, и благослови нас».

«И благослови нас», — повторяло эхо под холодными сводами Эдема; —

и Божий Сын пал без сознания к ногам небесного воинства, и тревога, и ужас изобразились на ликах, и струны арф оборвались,

и могущественнейший из архангелов задрожал от стыда и боли <...>

и громадным пинком вышвырнул меня за пределы райских преддверий, туда, где в предвкушении мести бесновались демоны,

и подхваченный на крылья, от века служившие мне опорой, я рассмеялся от счастья и покорный зову высших предназначений:

«Дух, влекущий меня сквозь пространства и годы — не ты ли, поседевший на службе Вельзевула,

во время оно прикинулся Гавриилом, возвестившим Марии тайну святого зачатия?

Я разгадал твое имя! И — отринь меня, Чистейшая из невест, хо-хо! за работу, товарищи!»

И над зевами всех пропастей я хохотал, как сорок умалишенных,

и полчища фурий, вампиров и ведьм рассыпались надо мной в смерче бергаманского танца,

и низвергались вместе со мною — <...> — сквозь неистовство всех стихий, <...>

в карнавале бедствий — праведное небо! — я летел как бомба,

И светила, выбитые из орбит — тысячью вихрей — чертили вокруг меня бешеные арабески — и Галактика содрогалась в блеске божественной галиматы —

в глазах моих все померкло.

Глава 5

«И была среди них дева, и бремя любви падало не на меня одного, и солнце сто тридцать раз садилось за горизонт, и Я отверг».

(Ev. ad Ven., c. 13, p. 9.)

И было утро — слушайте! слушайте! <...>

и было утро, и был вечер, и полыхали зарницы, и южный ветер сгибал тамаринды, и колхозная рожь трепетала в лучах заката.

И, мятежное дитя, Я очнулся в том самом образе, который утратил было в семье небожителей,

И снова увидел землю, которую вечность назад покинул;

и сам не признанный никем, никого не узнал.

И препоясал чресла, и на голову одел венок из увядающих трав.

И, взяв камышовый посох, — вышел в путь, озаренный звездами;

Сырость и мгла подмосковных болот окрыляли Мне сердце предчувствием всех начал;

И — на рассвете пришел к водоему; и вот — безмолвие оборвалось,

И вопль о помощи огласил почиющие тростники, и траурный всплеск, и смятение отроков, бегущих к воде; и, раздвинув кусты, Я вышел навстречу мятущимся и сказал:

«Остановитесь, добровольцы! Смирите вашу отвагу и внемите Мне, творящие добро;

умейте преодолевать в себе то, чем являетесь вы от рождения, и не будьте доверчивы к импульсам, возникающим безотчетно:

способность к жалости и самопожертвованию — великая ценность, завещанная пославшим Меня в этот мир, —

но достигший вожделенной цели, не станет ныне алчущий спасения вдесятеро преданней земле и враждебным Мне началам?

Отойдите от берега: худшая из дурных привычек — решаться на подвиг, в котором больше вежливости, чем сострадания.

Имейте мужество быть ротозеями — даже в те мгновения, когда гражданские обязательства побуждают вас действовать очертя голову, —

идите за Мной — и позвольте утопающему стать утопленным».

И воды сомкнулись над головой неведомого страдальца, и смущение запечатлелось на юных лицах, и взглядом окинули фейерверк всплывающих пузырей,

Но, околдованные, повиновались, и с рыданием последовали за Мной, и Я говорил им:

«Не убивайте в себе сожалений

И помните — с этого часа грудь ваша полнится тем содержанием, для которого она предназначена;

Жертва, принесенная вами на алтарь оживления утопленника, была бы менее преступна, но и менее благотворна для вас самих.

Не утирайте ваших слез,
Ибо свершившееся непоправимо, и дорогою ценою
куплен вами ваш отказ от великодушия».

И плакали горше прежнего, и Я вразумлял их, и
листва подмосковных рощ дарила нам тень и прохладу,

И пищей нам служили фабричные отходы и головки
болотных тритонов, и певчие птицы услаждали наш слух;

И шли до нового рассвета, приводя в изумление
встречных благородством нашей поступи и нищетой на-
ряда.

Когда же — в пыли столичных пригородов — вошли
мы под своды молодежных палаццо,

Изнуренные мыслью, мы дивились: их было без ма-
лого сто тридцать, влачащих дни свои под знаком моло-
дого задора и ослиной безмятежности,

И в сладостной неге предавались лобзаниям, и ковы-
ряли в носу, и читали решения июньского пленума,

и, завидя Меня, спросили идущих со Мной: «Кто
этот Пилигрим? и венец Его, и поучения одинаково
смехотворны».

И Я отвечал им:

«Преждевременно называть имя пославшего Меня в
этот мир; взгляните —

Мелкие воды прозрачны, глубокие же — неисследимы;

Но говорю вам — среди вас, простофиль, избалован-
ных повальным свинством и поэзией трудовых будней

Пребуду до той поры, пока десятая доля вас не скло-
нит головы в раздумье над теми загадками,

Которые почли вы свистом и лошадиным ржанием.
Dixi». <...>

Глава 13

<...>

«И вот ухожу я,

и вот ухожу я из мира скорби и печали, —

— из мира скорби и печали, которого не знаю,

в мир вечного блаженства, в котором не буду».

«Я ВЫШЕЛ ИЗ ДОМУ...» (ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ)

I

Я вышел из дому, прихватив с собой три пистолета; один пистолет я сунул себе за пазуху, второй — тоже за пазуху, третий — не помню куда.

И, выйдя в переулок, сказал: «Разве это жизнь? Это не жизнь, а колыханье струй и душевредительство. Божья заповедь «не убий», надо думать, распространяется и на самого себя («не убий» себя, как бы ни было скверно), — но сегодняшняя скверна и сегодняшний день — вне заповедей. «Ибо лучше мне умереть, нежели жить», — сказал пророк Иона. По-моему, тоже так.

Дождь моросил отовсюду, а, может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошел в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца — тоже щемило. Все ближние меня оставили.

Кто в этом виноват, они или я, разберется в день суда Тот, Кто и так далее. Им просто надоело смеяться над моими субботаами и плакать от моих понедельников. Единственные две-три идеи, что меня чуть-чуть подогревали, — тоже исчезли и растворились в пустотах. И, в довершение, от меня сбежало последнее существо, которое попридержало бы меня на этой земле. Она уходила — я нагнал ее на лестнице. Я сказал ей: «Не покидай меня, белопупенькая!», потом плакал полчаса, потом опять нагнал, сказал: «Благовоннолонная, останься!» — она повернулась, плюнула мне в ботинок и ушла навеки.

Я мог бы утопить себя в своих собственных слезах, но у меня не получилось. Я истреблял себя полгода, я бросался подо все поезда, но все поезда останавливались, не задевая чресел. У себя дома, над головой, я вбил крюк виселицы, две недели с веточкой флер-д-оранжа в петлице я слонялся по городу в поисках веревки, но так и не нашел. Я делал даже так: я шел в места больших маневров, становился у главной мишени, в меня лупили все орудия всех стран Варшавского пакта, и все снаряды пролетали мимо. Кто бы ты ни был, ты, доставший мне эти три пистолета, — будь ты четырежды благословен!

Еще не доходя до площади, я задохся, я опустился на цветочную клумбу, безобразен и безгласен. Душа все распухала, слезы текли у меня спереди и сзади, я был так смешон и горек, что всем старушкам, что на меня смотрели, давали нюхать капли и хлороформ.

«Вначале осуши пот с лица. Кто умирает потным? Никто потным не умирал. Ты богооставлен, но вспомни что-нибудь освежающее; что-нибудь такое освежающее... например, такое:

Ренан сказал: «Нравственное чувство есть в сознании каждого, и поэтому нет ничего страшного в богооставленности». Изящно сказано. Но это не освежает, — где оно у меня, это нравственное чувство? Его у меня нет.

И пламенный Хафиз (пламенный пошляк Хафиз — терпеть не могу), пламенный Хафиз сказал: «У каждого в глазах своя звезда». А вот у меня — ни одной звезды ни в одном глазу.

И Алексей Маресьев сказал: «У каждого в душе должен быть свой комиссар». А у меня в душе — нет своего комиссара. Нет, разве это жизнь? Нет, это не жизнь, это фекальные воды, водоворот из помоев, сокрушение сердца. Мир погружен во тьму и отвергнут Богом».

Не подымаясь с земли, я вынул свои пистолеты, два из подмышек, третий не помню, откуда, — и из всех трех разом выстрелил во все свои виски — и опрокинулся на клумбу, с душой, пронзенной навывлет.

«Разве это жизнь? — сказал я, подымаясь с земли, — это дуновение ветров, это клубящаяся мгла, это плевок за шиворот, — вот что это такое. Ты промазал, фигляр. Зараза немилая, ты промахнулся из всех трех пистолетов, и ни в одном из них больше нет ни одного заряда».

Пена пошла у меня изо рта, а может, не только пена. «Спокойно! У тебя остается еще одно средство, кардинальское средство, любимейшее итальянское блюдо — яды и химикалии». Остается фармацевт Павлик, он живет как раз на Гагаринской, книжник, домосед Павлик, пучеглазая мямля. Не печалься, вечно ты печалишься! Не помню кто, не то Аверинцев, не то Аристотель сказал: «*Omnia animalia post coitum oppressus est*», то есть «каждая тварь после соития бывает печальной», а я вот постоянно печален — и до соития, и после.

А лучший из комсомольцев, Николай Островский, сказал: «Одним глазом я уже ничего не вижу, а другим — лишь очертания любимой женщины». А я не вижу ни одним глазом, и любимая женщина унесла от меня свои очертания.

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений...» (Тьфу, я не могу больше говорить, у меня спазмы.) Я дернулся два раза и зашагал дальше, в сторону Гагаринской. Все три пистолета я швырнул в ту сторону, где цвели персидские цикламены, желтофиоли и черт знает что еще.

«Павлик непременно дома, он смешивает яды и химикалии, он готовит средство от бленорреи», — так я подумал и постучал:

— Отвори мне, Павлик.

Он отворил, не дрогнув ни одной щекой и не подымая на меня бровей; у него было столько бровей, что хоть часть из них он мог бы на меня поднять, — он этого не сделал.

— Видишь ли, я занят, — сказал он. — Я смешиваю яды и химикалии, чтобы приготовить средство от бленорреи.

— О, я ненадолго! Дай мне что-нибудь, Павлик, какую-нибудь цикуту, какого-нибудь стрихнину, дай, тебе же будет хуже, если я околею от разрыва сердца здесь, у тебя на пуфике! — Я взгромоздился к нему на пуфик, я умолял: — Цианистый калий у тебя есть? Ацетон? Мышьяк? Глауберова соль? Тащи все сюда, я все смешаю, все выпью, все твои эссенции, все твои калии и мочевины, волокни все!

Он ответил:

— Не дам.

— Ну, прекрасно, прекрасно. В конце концов, Павлик, что мне твои синильные кислоты, или как там еще? Что мне твои химикалии, мне, кто смешал и выпил все отравы бытия? Что они мне, вкусившему яда Венеры? Я остаюсь разрываться у тебя на пуфике. А ты покуда лечи бленоррею.

А профессор Боткин, между прочим, сказал: «Надо иметь хоть пару гонококков, чтобы заработать себе бленоррею». А у меня, у придурка, ни одного гонококка.

А Миклухо-Маклай сказал: «Не сделай я чего-нибудь до тридцати лет, я ничего не сделал бы и после тридцати». А я? Что я сделал до тридцати, чтобы иметь надежду что-нибудь сделать после?

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений...» (О нет, я снова не могу продолжать, снова спазмы).

Павлик-фармацевт поднял все свои брови на меня и стал пучеглазым, как в годы юности. Он продолжал вслед за мной:

— А Василий Розанов сказал: «У каждого в жизни есть своя Страстная неделя». Вот и у тебя...

— Вот и у меня, да, да, Павлик, у меня теперь Страстная неделя, и на ней семь Страстных Пятниц! Как славно! Кто такой этот Розанов?

Павлик ничего не ответил, он смешивал яды и химикалии и думал о чем-то заветном.

— О чем заветном ты думаешь? — спросил я его. Он и на это ничего не ответил, он продолжал думать о заветном. Я взбесился и соскочил с пуфика.

Через полчаса, прощаясь с ним в дверях, я сжимал под мышкою три тома Василия Розанова и вбивал бумажную пробку в бутылку с цикутой.

— Реакционер он, конечно, закоренелый?

— Еще бы!

— И ничего более оголтелого нет?

— Нет ничего более оголтелого.

— Более махрового, более одиозного — тоже нет?

— Махровее и одиознее некуда.

— Прелесть какая! Мракобес?

— «От мозга до костей» — как говорят девочки.

— И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер?

— Сгубил, царствие ему небесное.

— Душка. Черносотенством, конечно, баловался, погромы и все такое?

— В какой-то степени — да.

— Волшебный человек! Как только у него хватало нервов, желчи и досуга! И ни одной мысли за всю жизнь?

— Одни измышления. И то лишь исключительно злопыхательского толка.

— И всю жизнь и после жизни — никакой известности?

— Никакой известности. Одна небезызвестность.

— Да, да, я слышал (погоди, Павлик, я сейчас иду), я слышал еще в ранней юности от нашей наставницы Софии Соломоновны Гордо об этой ватаге ренегатов, об этом гнусном комплоте: Николай Греч, Николай Бердяев, Михаил Катков, Константин Победоносцев («простер совиные крыла»), Лев Шестов, Дмитрий Мережковский, Фаддей Булгарин («не то беда, что ты поляк»), Константин Леонтьев, Алексей Суворин, Виктор Буренин («по Невскому бежит собака»), Сергей Булгаков и еще целая куча мародеров. Об этом созвездии обскурантов, излучающем темный и пагубный свет, Павлик, я уже слышал от моей наставницы Софии Соломоновны Гордо. Я имею понятие об этой банде.

— Славная женщина София Соломоновна Гордо, относительно «банды» я не спорю, это привычно и не оскорбляет слуха, не урони бутылку с цикутой, а вот «созвездие» оскорбляет слух, — и никудашно, и неточно, и Иоганн Кеплер сказал: «Всякое созвездие ни больше, ни меньше как случайная компания звезд, ничего общего не имеющих ни по строению, ни по назначению, ни по размерам, ни по досягаемости».

— Ну, это я, допустим, тоже знаю, я слышал об этом от нашей классной наставницы Беллы Борисовны Савнер, женщины с дивным пахом (погоди, Павлик, я сейчас иду). Значит, по-твоему, чиновник Василий Розанов перещеголял их всех своим душегубством, обскакал и заткнул за пояс?

— Решительно всех.

— И переплюнул?

— И переплюнул.

— Людоед. А как он все-таки умер? Как умер этот кровопийца? В двух словах — и я уйду.

— Умер как следует. Обратился в истинную веру часа за полтора до кончины. Успел исповедаться и принять причастие. Ты слишком досконален, паразит, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Я раскланялся, поблагодарил за цикуту и за книжки, еще три раза дернулся и вышел вон.

4

Сначала отхлебнуть цикуты, а потом почитать? Или сначала почитать, а потом отхлебнуть цикуты? Нет, сначала все-таки почитать, а потом отхлебнуть. Я развернул наугад и начал с середины (так всегда начинают, если имеют в руках чтиво высокой пробы). И вот что это была за середина: «Книга должна быть дорогой. И первое свидетельство любви к ней — готовность ее купить. Книгу не надо «давать читать». Книга, которую «давали читать», — развратница. Она нечто потеряла от духа сво-

его и чистоты своей. Читальни и публичные библиотеки суть публичные места, развращающие народ, как и дома терпимости».

Вот ведь сволочь какая. Впрочем, нет, через несколько страниц, где уже речь не о развратницах-книгах, а просто о развратницах: «Можно позволять очищенный род проституции «для вдовствующих замужних», то есть для того разряда женщин, которые неспособны к единому браку, неспособны к правде, высоте и крепости единого брака».

Следом началась забавная галиматья о совместимости христианских принципов с «разверстыми ложеснами» и о том, что христианство, если только оно желает устоять в соперничестве с иудаизмом, должно хотя бы отчасти стать фаллическим. Голова моя стала набухать чем-то нехорошим, я встал и просверлил по дыре в каждой из четырех стен для сквозняков.

А потом повалился на канапе и продолжал:

«Бог мой, Вечность моя, отчего Ты дал столько печали мне? Томится душа моя. Томится страшным томлением. Утро мое без света. Ночь моя без сна». (У обскуранта — и вдруг томится душа?) «Есть ли жалость в мире? Красота — да, смысл — да. Но жалость?» «Звезды жалеют ли? Мать жалеет, и да будет она выше звезд». «Грубы люди, ужасающе грубы — и даже по этому одному, или главным образом поэтому — и боль в жизни, столько боли». «О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую дозу раздражения!»

(Нет, с этим «душегубом» очень даже есть о чем поговорить, мне давно не попадалось существо, с которым до такой степени было бы о чем поговорить!)

«Только горе открывает нам великое и святое». Боль беспредметная, беспричинная и почти непрерывная. Мне кажется, с болью я родился. Состояние — иногда до того тяжелое, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, «состав не выдержит».

«Я не хочу истины, я хочу покоя». «О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать?»

«Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я в собственном смысле? Никогда». «Грусть — моя вечная гостья». «Смех не может никого убить, смех придавить только может. Терпение одолевает всякий смех». «Смеяться — вообще недостойная вещь, низшая категория человеческой души. Смех — от Калибана, а не от Ариэля».

«Он плакал. И только слезам Он открыт. Кто никогда не плачет — никогда не увидит Христа». «Христос — это слезы человечества». «Боже вечный, стой около меня. Никогда от меня не отходи».

(Вот-вот! Мересьев и Кеплер, Аристотель и Боткин говорили совсем не то, а этот — говорит то самое. «Коллежский советник Василий Розанов, пишущий сочинения». Шопенгауэр и София Гордо, Хафиз и Миклухо-Маклай несли унылую дичь, и душа восставала, а здесь душа не восстает. И не восстанет теперь, с чем бы она еще ни имела дела — с парадоксом или прописью.)

«Русское хвастовство и русская лень, собравшиеся перевернуть мир, — вот революция». «Она имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего — глубины». «Революция — когда человек преобразуется в свинью, бьет посуду, гадит хлев, зажигает дом». «Самолюбие и злоба — из этого смешана вся революция».

И о декабристах, о моих возлюбленных декабристах:

«И пишут, пишут историю этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья. И Некрасов с «Русскими женщинами».

И о Николае Чернышевском (о том, кто призван был, страдалец, «царям напомнить о Христе»): «Понимаете ли вы, что цивилизация — это не Боклишко с Дарвинишском, не Спенсеришко в 20 томах, не наш Николай Гаврилович, все эти лапти и онучи русского просвещения, которым всем надо дать под зад?» «Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку-то надо было драть за уши, а Николаю Гавриловичу дать по морде, как навонявшему в комнате конюху? Что никаких с ними разговоров нельзя было водить? Что их просто следовало вывести их за руку, как из-за стола выводят

господ, которые вместо того, чтобы кушать, начинают вонять». (Как это может страдалец — вонять?)

И о графе Толстом: «В особенности не люблю Толстого и Соловьева. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывает больше движения души, чем их «философия и публицистика». Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. В них (в Толстом и Соловьеве) не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма «давили».

И о Максиме Горьком (по-моему, все-таки о Максиме Горьком):

«Все что-то где-то ловит, в какой-то мутной водице какую-то самолюбивую рыбку. Но больше срывается: и насадка плохая, и крючок туп. Но он не унывает. И опять закидывает».

И об основателе «политического пустозвонства в России» Александре Герцене.

И даже о Николае Гоголе, предмете его поклонения:

«За всю его жизнь — ни одного высокого и натурального помысла — только бы накопить денежку или прочитав кому-нибудь рацею. Он, еще будучи гимназистом, матери в письмах диктовал рацеи. И все его душевные движения — без всякой страсти, медленные и тягучие. Словно гад ползет».

Вот на этом «ползучем гаде» я уснул на рассвете, в обнимку с моим ретроградом. Вначале уснула духовная сторона моего существа, следом за ней брэнная — тоже уснула.

5

И когда духовная проснулась, брэнная еще спала. Но мой ретроград проснулся раньше их всех, и мне, если бы я не был уже знаком с ним, показалось бы, что он ведет себя диковинно.

Вначале, плеснув себе воды в лицо, он пропел: «Боже, царя храни», пропел нечисто и неумело; но вложил в

это больше сердца и натуральности, чем все подданные Российской империи, вместе взятые, со времен злополучной Ходынки. Потом расцеловал всех детей на свете и пешком отправился в церковь. Стоя среди молящихся, он походил то на оценщика-иностранца, то на «демона, боязливо хватяющегося за крест», то на Абаддона, только что выползшего из своей бездны, то еще на что-то такое, в чем много пристрастия, но трудно определить, какого рода это пристрастие и во что оно обходится этому Абаддону.

(А я все лежал на канаве, переминаясь с ноги на ногу, и наблюдал.)

Выйдя на паперть, он подал двум нищим, а остальным, всмотревшись в них, почему-то не подал. За что-то поблагодарил Клейнмихеля, походя дал пощечину Желябову, прослезился и сказал квартальному надзирателю, что в мире нет ничего святее полицейских функций.

Потом поежился. Обойдя сзади шеренгу социалистов и народовольцев, ущипнул за ягодицу «кавалерственную даму» Веру Фигнер (она и глазом не повела), а всем остальным раздал по подзатыльнику.

(«О, шельма!» — сказал я, путаясь в восторгах.)

А он, между тем, влепив последний подзатыльник, нахмурился и вошел ко мне в избу с кучей старых монет в кармане. Покуда он вынимал, вертел в руках и дул на каждую монетку, я тихо приподнялся на канаве и шепотом спросил:

— Неужели это интересно: дуть на каждую монетку?

А он, ни слова не говоря, сказал мне:

— Чертовски интересно, попробуй-ка сам. А почему ты дрыхнешь? Тебе скверно — или ты всю ночь путался с блядьми?

— Путался, и даже с тремя. Мне дали вчера их почитать, потому что мне было скверно. «Книга, которую дают читать...» — и так далее. Нет, сегодня мне чуть получше. А вот вчера — мне было плохо до того, что делегаты горсовета, которые на меня глядели, посыпали голову пеплом. А старушкам, что на меня глядели, давали нюхать...

Меня прорвало, и я на память пересказал свой вчерашний день, от пистолетов до ползучего гада. И тут он пришелся мне уж совсем по вкусу, мой гость-нумизмат: его прорвало тоже. Он наговорил мне общих мест о кощунстве самоистребления, потом что-то о душах, «сплетенных из грязи, нежности и грусти», и о «стыдливых натурах, обращающих в веселый фарс свои глубокие надсады», о Шернвале и Гринберге, об Амвросии Оптинском, о тайных пафосах еврея и половых загадках Гоголя и Бог весть еще о чем.

Баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, без примесей, он заводил пасквильности, чуть речь заходила о том, перед чем мы привыкли благоговеть, — и раздавал панегирики всем, над кем мы глумимся, — и все это с идеальной систематичностью мышления и полным отсутствием системности в изложении, с озлобленной сердечностью, с нежностью, настоянной на черной желчи, и с «метафизическим цинизмом».

Не зная, чем еще высказать свои восторги (не восклицать же снова: «О, шельма!»), я пересел на стул, предоставив ему свалиться на мое канапе. И в трех тысячах слов рассказал ему о том, чего он знать не мог: о Днепрогэсе и Риббентропе, Освенциме и Осавиахиме, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствующих и обновленцах (тут он попросил подробнее, но я подробнее не знал), о Павлике Морозове и о зарезавшем его кулаке Данилке.

Это его раздавило, он почернел и опустился. И только потом опять заговорил: об искривлении путей человеческих, о своем грехе против человека, но не против Бога и Церкви, о Гефсиманском поте и врожденной вине.

А я ему — тоже о врожденной вине и посмертных реабилитациях, о Пекине и Кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов.

— Когда израильтяне ездили на юг, к амаликиянам, они все, что имели, меняли на бальзамические смолы. А

мы — что мы обменяем на бальзамические смолы, если поедем на юг, к амаликиянам? Клятва, гарантия, порука, залог — что найти взамен всему этому? Чем клясться, за кого поручиться и где хоть один залог? Вот даже старый Лаван, изверившийся во всем, клялся дочерьми, не зная, что еще можно избрать предметом. А есть ли у кого-нибудь из нас, во всей России, хоть одна дочь? А если есть, сможем ли мы поклясться дочерьми?..

Любивший дочерей мой собеседник высморкался и сказал: «Изрядно».

6

И тут меня вырвало целым шквалом черных и дураковатых фраз:

— Все переменялось у нас, ото «всего» не осталось ни слова, ни вздоха. Все балаганные паяцы, мистики, горлопаны, фокусники, невротики, звездочеты — все как-то поразбежались по заграницам еще до твоей кончины. Или, уже после твоей кончины, у себя дома в России поперемерли и попереवेशались. И, наверное, слава Богу. Остались умные, простые, честные и работающие. Говна нет, и не пахнет им. Остались брильянты и изумруды. Я один только — пахну... Ну, и еще несколько отщепенцев — пахнут...

Мы живем скоротечно и глупо, они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже подышаем. А они, мерзавцы, долголетны и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен. Кашей почему-то бессмертен. Всякая их идея — непреходяща, им должно расти, а нам — умяляться. Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа, он украл огонь для них, мерзавцев...

— О, не продолжай, — сказал мне на это Розанов, — и перестань нести околесицу...

— Если я замолчу и перестану нести околесицу, — отвечал я, — тогда заговорят камни. И начнут нести околесицу. Да.

Я высморкался и продолжал:

— Они в полном неведении. «Чудовищное неведение Эдипа», только совсем наоборот. Эдип прирезал отца и женился на матери по неведению, он не знал, что это его отец и его мать, он не стал бы этого делать, если бы знал. А у них — нет, у них не так. Они женятся на матерях и режут отцов, не ведая, что это, по меньшей мере, некрасиво.

И знал бы ты, какие они все крепыши, все теперешние русские. Никто в России не боится щекотки, я один только во всей России хохочу, когда меня щекочут. Я сам щекотал трех девок и с десятков мужичков — никто не отозвался ни ужимкой, ни смехом. Я ребром ладони лупил им всем под коленку — никаких сухожильных рефлексов. Зрачки на свет, правда, реагируют, но слабо. Ни у кого ни камня в почках, никакой дрожи в членах, ни истомы в сердце, ни белка в моче. Из всех людей моего поколения одного только меня не взяли в Красную Армию, и только потому, что у меня была изжога и на спине два пупырышка...

(«Хо-хо! — сказал собеседник. — Отменно».)

И вот — меня терзает эта контрастность между ними и мною. «Прирожденные идиоты плачут, — говорил Дарвин, — но кретины никогда не проливают слез». Значит — они кретины, а я — природный идиот. Вернее, нет, мы разнимся, как слеза идиота от улыбки кретина, как понос от запора; как моя легкая придурь от глубокой припизднутости (сто тысяч извинений). Они лишили меня вдоха и выдоха, страхи обложили мне душу со всех сторон, я ничего от них не жду, вернее, опять же нет, я жду от них сказочных зверств и несказанного хамства, это будет вот-вот, с востока это начнется или с запада, но это будет вот-вот. И когда начнется — я уйду, сразу и без раздумья уйду, у меня есть опыт в этом, у меня под рукой яд, благодарение Богу. Уйду, чтобы не видеть безумия сынов человеческих...

Все это проговорил я, давась от слез. А проговорив, откинулся на спинку стула, заморгал и затрясся. Собеседник мой наблюдал за мной с минуты, а потом сказал:

— Не терзайся, приятель, зачем терзаться? Перестань трястись, импульсивный ты человек! У самого у тебя каждый день штук тридцать вольных грехов и штук сто тридцать невольных, позаботься о них вначале. Тебе ли сетовать на грехи мира и отягчать себя ими? Прежде займись своими собственными. Во всеобщем «безумии сынов человеческих» есть и доля твоей (как ты сладостно выразился) припизднутости.

«Мир вечно тревожен и тем живет». И даже напротив того. «Мы часто бываем неправдивы, чтобы не причинять друг другу излишней боли. Он же постоянно правдив». Благо тебе, если увидишь Его и прибегнешь. Путь к почитанию Креста, по существу, только начинается. Вот: много ли ты прожил, приятель — совсем ничтожный срок, а ведь со времени Распятия прошло всего шестьдесят таких промежуточков. Все было недавно. «И оставь свои выпренности», все еще только начинается.

«Пусть говорят, что дом молитвы, обращенный в вертеп разбойников, не сделаешь заново домом молитвы». «Но нежная идея переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Сломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе вечной разлуки — это никогда не порвется и не истощится». «Следует бросить железо — оно паутина, и поверить в нежную идею. Истинное железо — слезы, вздохи и тоска. Истинное, что никогда не разрушится, — одно благородное».

Он много еще говорил, но уже не так хорошо и не так охотно. И зыбко, как утренний туман, приподнялся с канапе, и, как утренний туман, заколыхался, а потом сказал еще несколько лучших слов — о вздохе, корыте и свиньях — и исчез, как утренний туман.

Прекрасно сказано: «Все только начинается!» Нет, я не о том, я не о себе, у меня-то все началось давно, и не с Василия Розанова, он только «распалил во мне на-

дежду». У меня все началось еще лет десять до того — все, влитое в меня с отроческих лет, плескалось внутри меня, как помой, переполняло чрево и душу и просилось вон; оставалось прибечь к самому проверенному из средств: изbleвать все это посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый Завет, другим — российская поэзия, то есть вся русская поэзия от Гаврилы Державина до Марины (Марины, пишущей «Беда» с большой буквы).

Мне стало легче. Но долго после того я был расслаблен и бледен. Высшие функции мозга затухали оттого, что деятельно был возбужден один только кусочек мозгов — рвотный центр продолговатого мозга. Нужно было что-то укрепляющее, и вот этот нумизмат меня укрепил — в тот день, когда я был расслаблен и бледен сверх всяких пределов.

Он исполнил функцию боснийского студента, всадившего пулю в эрцгерцога Франца-Фердинанда. До него было скопление причин, но оно так и осталось бы скоплением причин. С него, собственно, не началось ничего, все только разрешилось, но без него, убийцы эрцгерцога, собственно, ничего бы и не началось.

Если бы он теперь спросил меня:

— Ты чувствуешь, как твоя поганая душа понемногу теитизируется?

Я ответил бы:

— Чувствую. Теитизируется.

И ответил бы иначе, чем еще позавчера бы ответил. Я прежде говорил голосом глуповатым и жалким, голосом, в котором были только звон и бляенье, бляенье заблудшей овцы и звон потерянной драхмы вперемешку. Теперь я уже знал кое-что о миссионерстве образцов и готов был следовать им, если б даже меня об этом не просили: «неумело» благотворить и «по пустякам» анафемствовать.

Прекрасно сказано: «Люди, почему вы не следуете нежным идеям?» Это напоминает вопрос какого-то британца к вождю калимантанских каннибалов: «Сэр, по-

чему вы кушаете своих жен?» Я не знаю лучшего миссионера, чем повалевшийся на моем канapé Василий Розанов.

Да, что он там сказал уходя? О вздохе, о свиньях?

Вздох богаче царства, богаче Ротшильда. Вздох — всемирная история, начало ее и вечная жизнь. Мы — святые, а они — корректные. К «вздоху» Бог придет. К нам придет. Но скажите, пожалуйста, неужели же Бог придет к корректному человеку? У нас есть вздох. У них — нет вздоха.

И тогда я понял, где корыто и свиньи,

8

а где терновый венец и гвозди и мука.

И если придется, я защищу это все, как сумею. А если станут мне говорить, что Розанов был трусоват в сферах повседневности, я, во-первых, скажу, что это вранья, ведь кроме того, что мы знаем, мы не знаем ровно ничего. Но если это и в самом деле так, можно отбояриться каким-нибудь убогим парадоксом, вроде того, например, что трусость — это хорошо, трусость позитивна и основывается на глубоком знании вещей и, следовательно, опасении их. А всякая отвага — по существу негативное качество, заключающееся в отсутствии трусости. И балбес, кто будет утверждать обратное.

Если мне скажут: случилось, он подличал в мелочах, иногда склонялся к ренегатству и при кажущейся незыблемости принципов он, по собственному признанию, «менял убеждения, как перчатки», уверяя при этом, что за каждой изменой следует возрождение, — если мне это скажут, я им отвечу в их же манере: все это декларации человека, кто жаловался и на собственный «фетишизм мелочей» и кому (может быть, даже единственному в России) ни одна мелочь ни разу не застилала глаз.

Да этот человек ни разу за всю жизнь не прикинулся добродетельным, между тем как прикидывались все. А

за огненную добродетель можно простить вялый порок. Чтобы избежать приговоров пуристов, надо, чтобы сам порок был лишен всякой экстремы. Чтобы избавиться от упреков разных мозгобателей, вроде принца Гамлета, королеве Гертруде, прежде чем идти под венец, надо было просто *успеть доносить свои башмаки*. Искупитель был во всем искушен, кроме греха. Мы же можем быть искушены во всех грехах, — чтобы знать им цену и суметь отворотиться от них от всех. Можно быть причастным мелкой лжи, можно быть поднаторевшим в пустяшной неправедности — пусть — это как прививка от оспы — это избавление от той *гигантской лжи* — (все, дурни, знают, о чем я говорю).

А если скажут мне, что выглядел он прескверно, что нос его был мясист, а маленькие глазки постоянно блуждали и дурно пахло изо рта, и все такое, — я им,, отвечу так: «Ну, так что ж, что постоянно блуждали? Честного человека только по этому признаку и можно отличить: у него глаза бегают. Значит, человек совестлив и не способен на крупноплановые хамства. У масштабных преступников глаза не шевелятся, у лучшей части моих знакомых — бегают. У Бонапарта глаза не шевелились. А Розанов сказал, что откусил бы голову Бонапарту, если б встретил его где-нибудь. Ну, как может пахнуть изо рта человека, который хоть мысленно откусил башку у Бонапарта?..»

Он не был ни замкнут, ни свиреп, пусть не плетут вздора. Те, кто знает, что в мире нет ничего шуточного (а он знал это лучше всех), — эти люди веселы и добры, и он поэтому был веселее всех и добрей. Только легкомысленные люди замкнуты и свирепы.

А если (гадость какая!), а если заговорят о пресловутых «эротических нездоровьях» Розанова — тут нечего и возражать. Тому, у кого в душе от юности до смерти прочно стоял монастырь, — отчего бы и не позабавиться иногда языческими кунштшюками, если б это, допустим, и в самом деле были только кунштшюки и забавы? И почему бы не позволить экскурсы в сексу-

альную патологию тому, в чьем сердце неизменной оставалась Пречистая Дева? Ни малейшего ущерба ни для Розанова, ни для Пречистой Девы.

Ему надо воздвигнуть монумент, что бы там ни говорили. Ему надо воздвигнуть три монумента: на родине, в Петербурге и в Москве. Если мне будут напоминать, что сам покойник настаивал: «достойный человека памятник только один — земляная могила и деревянный крест, а монумента заслуживает только собака», — я им скажу, дуракам, что если и в самом деле на что-нибудь годятся монументы, то исключительно только для напоминания о том, кто, по зависящим от нас или нет причинам, незаслуженно ускользнул из нашей памяти. Антону Чехову в Ялте вовсе незачем ставить памятник, там и без того его знает каждая собака. А вот Антону Деникину в Воронеже — следовало бы; каждая тамошняя собака его забыла, а надо, чтобы помнила.

9

Короче, так. Этот гнусный ядовитый фанатик, этот токсичный старикашка, он — нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, — но спас мне честь и дыхание (ни больше, ни меньше: честь и дыхание). Все тридцать шесть его сочинений, от самых пухлых до самых крохотных, вонзились мне в душу и теперь торчат в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна.

И я пошел из дома в ту ночь, набросив на себя что-то вроде салопы, с книгами под мышкой. В такой вот поздний час никто не набрасывает на себя салопы и не идет из дома к друзьям-фармацевтам с шовинистами под мышкой. А я вот вышел — в путь, пока еще ничем не озаренный, кроме тусклых созвездий. Чередовались знаки Зодиака, и я вздохнул, так глубоко вздохнул, что чуть не вывихнул все, что имею. А вздохнув, сказал:

— Плевать на Миклухо-Маклая, что бы он там ни молел. До тридцати лет, после тридцати — какая разни-

ца? Ну, что, допустим, сделал в мои годы император Нерон? Ровно ничего не сделал. Он успел, правда, отрубить башку у брата своего, Британика, но основное было впереди: он еще не изнасиловал ни одной из своих племянниц, не поджигал Рима с четырех сторон и еще не задушил свою маму атласной подушкой. Вот и у меня тоже — все впереди.

Хо-хо, пускай мы всего-навсего говно собачье, а они — брильянты, начхать! Я знаю, какие они брильянты. И каких они еще навыворяют дел, паскуднейших, чем натворили, — это я тоже знаю! Опали им гортань и душу, Творец, они не заметят даже, что Ты опалил им гортань и душу, все равно — опали!

Вот, вот! Вот что для них годится, я вспомнил: старинная формула отречения и проклятия. «Да будьте вы прокляты в вашем доме и в вашей постели, во сне и в дороге, в разговоре и в молчании. Да будут прокляты все ваши чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело ваше, от темени головы до подошвы ног!»

(Прелестная формула.)

Да будьте вы прокляты на пути в свой дом и на пути из дома, в лесах и на горах, со щитом и на щите, на кровати и под кроватью, в панталонах и без панталон! Горе вам, если вам, что ни день, омерзительно! Если вам, что ни день, хорошо — горе вам! (Если хорошо — четырежды горе!) В вашей грамоте и в вашей безграмотности, во всех науках ваших и во всех словесностях — будьте прокляты! На ложе любви и в залах заседаний, на толчках и за пюпитрами, после смерти и до зачатия — будьте прокляты! Да будет так. Аминь.

Впрочем, если вы согласитесь на такое условие: мы драгоценных вас будем пестовать, а вы нас — лелеять, если вы согласны растаять в лучах моего добра, как в лучах Ярилы растаяла эта Снегурочка, — если согласны — я снимаю с вас все проклятья. Меньше было б заботы о том, что станется с моей землей, если б вы согласились. Ну, да разве вас уломаешь, ублютков?

Итак, проклятие остается в силе.

Пускай вы изумруды, а мы наоборот. Вы прейдете, надо полагать, а мы пребудем. Изумруды канут на самое дно, а мы поплывем — в меру полые, в меру вонючие, — мы поплывем.

Я смахивал, вот сейчас, на оболтусов-рыцарей, выходящих от Петра Пустынника, — доверху набитых всякой всячиной, с прочищенными мозгами и с лицом, обращенным в сторону Гроба Господня. Чередовались знаки Зодиака. Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: «Созвездия, ну хоть теперь-то вот — вы благосклонны ко мне?»

«Благосклонны», — ответили созвездия.

САША ЧЕРНЫЙ И ДРУГИЕ

На днях я маялся бессонницей, а в таких случаях советуют или что-нибудь подсчитывать, или шпарить наизусть стихи. Я занялся и тем, и этим, и вот что обнаружилось: я знаю слово в слово беззапиночным образом 5 стихотворений Андрея Белого, Ходасевича — 6, Анненского — 7, Сологуба — 8, Мандельштама — 15, а Саши Черного только 4, Цветаевой — 22, Ахматовой — 24, Брюсова — 25, Блока — 29, Бальмонта — 42, Игоря Северянина — 77. А Саши Черного — всего 4.

Меня подивило это, но ненадолго. Разница в степени признания тут ни при чем: я влюблен во всех этих славных серебряно-вековых ребятишек, от позднего Фета до раннего Маяковского, решительно во всех, даже в какую-нибудь трухлявую Марию Моравскую, даже в суконнокамвольного Оцупа. А в Гиппиус — без памяти и по уши. Что до Саши Черного — то здесь приятельское отношение, вместо дистанционного пиетета и обожания. Вместо влюбленности — закадычность. И «близость и полное совпадение взглядов», как пишут в коммюнике.

Все мои любимцы начала века все-таки серьезны и амбициозны (не исключая и П.Потемкина). Когда случается у них у всех, по очереди, бывать в гостях, замечаешь, что у каждого чего-нибудь нельзя. «Ни покурить, ни как следует поддать», ни загнуть не-пур-де-дамный анекдот, ни поматериться. С башни Вяч. Иванова не высморкаешься, на трюмо Мирры Лохвицкой не поблюешь.

А в компании Саши Черного все это можно: он несерьезен, в самом желчном и наилучшем значении этого слова.

Когда читаешь его сверстников-антиподов, бываешь до того оглушен, что не знаешь толком, «чего же ты хочешь». Хочется не то быть распростертым в пыли, не то пускать пыль в глаза народам Европы; а потом в чем-нибудь погрязнуть. Хочется во что-нибудь впасть, но непонятно во что, в детство, в грех, в лучезарность или в идиотизм. Желание, наконец, чтоб тебя убили резным голубым наливчиком и бросили твой труп в зарослях бересклета. И все такое. А с Сашей Черным «хорошо сидеть под черной смородиной» («объедаясь ледяной простоквашею») или под кипарисом («и есть индюшку с рисом»). И без боязни изжоги, которую, я замечал, Саша Черный вызывает у многих эзотерических простофиль.

Глядя на вошь, Рукавишников почесывает пузо, Кузмин — переносицу, Клюев — чешет в затылке, Маяковский — в мошонке. У Саши Черного тоже свой собственный зуд — но зуд подвздошный — приготовление к звучной и точно адресованной харкотине.

Во всяком случае, четверть века назад, когда я впервые напился до такой степени, что превозмог конфузливость, первым моим публично прочитанным стихотворением был, конечно, «Стилизованный осел»:

«Голова моя — темный фонарь с перебитыми стеклами,
С четырех сторон открытый враждебным ветрам,
По утрам...» — ну, и так далее.

Рождество 82 г.

«НОБЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ ОШИБАЕТСЯ...» (ОБ ИОСИФЕ БРОДСКОМ)

Нобелевский комитет ошибается только один раз в году», — связвил один мой приятель месяц тому назад. И я, собственно, о Бродском писать не буду, это излишне. Любопытнее знать, как обмолвилась о нем знаковая мне столичная публика, от физика-атомщика до церковного сторожа, в конце октября 87 г. Я как можно короче.

Л., корректор издательства «Прогресс»: «Вначале, в бытность питерским тунеядцем, он был интереснее во сто крат. Пилигримы и все такое. Теперь, шагнув за Рубикон, он затвердел от пейс до гениталий».

Р., преподавательница 1-го медицинского института: «Я вижу, в Стокгольме поступают по принципу: все хорошо, что плохо для русских».

В.Т., поэт: «Ты как хочешь, Веня, а я вот за что его недолюбливаю: в нем мало непомерностей. В наше непомерное время надо быть непомерным, а у него безграничны только его длинноты. Да и то не слишком безграничны — можно было б и подлиннее».

А., физик, доктор наук: «Для него все посторонне, и он для всех посторонен. Хоть некоторым врасплох застигнутым читателям кажется, что он ко всем участлив. Натан Ротшильд тоже участвовал в битве при Ватерлоо. В качестве зрителя, на отдаленном холме. К вопросу о «Холмах».

Н.С., искусствовед: «Дело даже не в том, что он белоэмигрант. Но в нем есть какая-то несущественность. При всех своих достоинствах он лишен чего-то такого,

чего-то такого, что делает его начисто лишенным вот того самого, чего он начисто лишен» (!).

В.М., переводчик, крайне правый католик: «Я не говорю уже о достоинствах самого стиха, это очевиднее очевидного. Но в нем есть то, что прежде называли так: вменяемость перед высшей инстанцией».

М., крайне левая православная: «Ну, не такая уж это неприятность, присуждение премии. Миновали уже те времена, когда нам были страшны подвохи со стороны Нобелевского комитета» (1/XI—87 г.).

Б.С., литератор: «Писать надо удовлетворительно или скверно. Отлично писать, как это делает И. Бродский, — некрасиво и греховно. И оскорбляет честь нации, оставшейся вопреки всему — у себя дома».

В.Л., тоже литератор: «Он совсем не умеет писать. Стихотворная строка должна звучать сама по себе, а не расплескиваться вниз. Что бы вы сказали, если б Хонсю-Хондо ничем не отделялся от Хоккайдо? Представьте себе: Сахалин непосредственно переходит в Хоккайдо, а Хоккайдо в Хонсю-Хондо. И никакого пролива Лаперуза. Это тошнотворно».

С., биолог: «Теперь я верю тем историкам, которые утверждают, что Парижская коммуна была еврейской махинацией» (1/IX—87 г.).

Продолжать не буду, чтобы вконец не утомить. А панегирических суждений не привожу за их избыточную восклицательность и единообразие и потому, что ко всем им присоединяюсь, конечно. Как бы ни было, грамотному русскому человеку — это я знаю определенно — было б холоднее и пустынное на свете, если б поэзия Иосифа Бродского по какой-нибудь причине не существовала.

Все изложенные выше мнения о поэте мной самим предельно сокращены и доведены до степени литературной внятности.

МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ЛЕНИНИАНА

Для начала два вполне пристойных и дамских эпитафия:

Надежда Крупская — Марии Ильиничне Ульяновой: «Все же мне жалко, что я не мужчина, а то бы я в десять раз больше шлялась» (1899).

Инесса Арманд (1907): «Меня хотели послать еще на сто верст к северу, в деревню Койду. Но, во-первых, там совсем нет политиков, а во-вторых, там, говорят, вся деревня заражена сифилисом, а мне это не очень улыбается».

Впрочем, можно следом пустить еще два дамских эпитафия, но только уже не вполне пристойных.

Галина Серебрякова о ночах Карла Маркса и Женни фон Вестфален: «Окружив его заботой, Женни терпеливо писала под диктовку Карла. А Карл с сыновней доверчивостью отдавал ей свои мысли. Это были счастливые минуты полного единения. Случалось, до рассвета они работали вместе». Но только люди, жившие за стеной, жаловались на то, что у них ночами «не прекращаются разговоры и скрип ломких перьев» (в серии «Жизнь замечательных людей»).

Инесса Арманд — Кларе Цеткин: «Сегодня я сама выстирала свои жабо и кружевные воротнички. Вы будете бранить меня за мое легкомыслие, но прачки так портят, а у меня красивые кружева, которые я не хотела бы видеть изорванными. Я все это выстирала сегодня утром, а теперь мне надо их гладить. Ах, счастливый друг, я уверена, что Вы никогда не занимаетесь хозяйством, и даже подозреваю, что Вы не умеете гладить. А ну-ка, скажите откровенно, Клара, умеете Вы гладить?»

Будьте чистосердечны и в Вашем следующем письме признайтесь, что Вы совсем не умеете гладить!» (январь 1915).

Ну, а теперь к делу. То есть к выбранным местам из частной и деловой переписки Ильича с того времени, как он обучился писать, и до того (1922) времени, как он писать разучился.

В 1895 году он еще гуляет по Тиргартену, купается в Шпрее. Посетив Францию, сообщает: «Париж — город громадный, изрядно раскинутый».

Но вот уже в 96-м году Ильич помещен на всякий случай в дом предварительного заключения в Санкт-Петербурге: «Литературные занятия заключенным разрешаются. Я нарочно справлялся об этом у прокурора. Он же подтвердил мне, что ограничений в числе пропускаемых книг нет».

Оттуда же он пишет сестрице: «Получил вчера припасы от тебя, (...) много снеди (...), чаем, например, я мог бы с успехом открыть торговлю, но думаю, что не разрешили бы, потому что при конкуренции со здешней лавочкой победа осталась бы несомненно за мной.

Все необходимое у меня теперь имеется, и даже сверх необходимого. Свою минеральную воду я получаю и здесь: мне приносят ее из аптеки в тот же день, как закажу».

Одна только просьба. «Хорошо бы получить стоящую у меня в ящике платяного шкафа овальную коробку с клистирной трубкой» (1896).

А дальше, разумеется, Шушенское. «В Сибири вообще в деревне очень и очень трудно найти прислугу, а летом прямо невозможно» (1897). «Я еще в Красноярске стал сочинять стихи

В Шуше, у подножия Саяна...

но дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил».

Младший братец его, Дмитрий Ульянов, тоже угодил в тюрьму, и вот какие советы из Шушенского дает

ему старший брат: «А Митя? Во-первых, соблюдает ли он диету в тюрьме? Поди, нет. А там, по-моему, это необходимо. А во-вторых, занимается ли он гимнастикой? Тоже, вероятно, нет. Тоже необходимо. Я по крайней мере по своему опыту знаю и скажу, что с большим удовольствием и пользой занимался на сон грядущий гимнастикой. Разомнешься, бывало, так, что согреешься даже.

Могу порекомендовать ему и довольно удобный гимнастический прием (хотя и смехотворный) — 50 земных поклонов» (1889).

И сверх того, ожидание невесты Надежды Константиновны и будущей тещи Елизаветы Васильевны. Наконец приезжают. Вот как он сообщает об этом приезде своей матушке:

«Я нашел, что Надежда Конст-на выглядит неудовлетворительно. Про меня же Елизавета Васильевна сказала: «Эк Вас разнесло!» — отзыв, как видишь, такой, что лучше и не надо» (1898).

«Мы с Надей начали купаться».

А когда закончились купальные сезоны — «катаюсь на коньках с превеликим усердием и пристрастил к этому Надю» (1899).

Европа после Шушенского, само собой, дерьмо собачье.

«Глупый народ — чехи и немчура» (Мюнхен, 1900). «Мы уже несколько дней торчим в этой проклятой Женеве. Гнусная дыра, но ничего не поделаешь» (1908). «Париж — дыра скверная» (1910).

Блистательные сентенции вроде: «Я вовсе не нахожу ничего смешного в заигрывании с религией, но нахожу много мерзкого» (1909).

«Мы все ездим с Надей на велосипедах кататься» (1909. Бретань). «Ехал я из Жювизи, и автомобиль раздавил мой велосипед (я успел соскочить). Публика помогла мне записать номер, дала свидетелей. Я узнал владельца автомобиля (виконт, черт его дери) и теперь сужусь с ним через адвоката. (...) Надеюсь выиграть» (Париж, 1910).

«Погода стоит такая хорошая, что я собираюсь взяться снова за велосипед, благо процесс я выиграл и скоро должен получить деньги с хозяина автомобиля» (Париж, 1910). «Я не верю, что будет война» (Краков, 1912). «А насчет женского органа напишет Надежда Конст-на» (Краков, 1914).

И драгоценные добавления в письмах Надежды Конст-ны:

«Новый год мы встречали вдвоем с Володей, сидючи над тарелками с простоквашей» (январь 1914).

«Собираемся взять прислугу, чтобы не было возни большой с хозяйством и можно было бы уходить на далекие прогулки» (Краков, лето 1914).

«Сегодня Володя ездил на велосипеде довольно далеко, только шина у него лопнула» (Краков, лето 1914).

О своем друге Максиме Горьком Ильич помнит неизменно: «Горький изнервничался и раскис» (1910). «Горький всегда был архибесхарактерным человеком». Или: «Бедняга Горький! Как жаль, что он осрамился!» И несколько позднее: «И это Горький! О, теленок!»

Однако началась война. Бегство из Кракова. И «сидючи» в нейтральной Швейцарии, тов. Шляпникову: «Лозунг мира — это обывательский, поповский лозунг» (17 октября 1914).

А милой Инессе Арманд: «Даже мимолетная связь и страсть поэтичнее, чем поцелуи без любви пошлых и пошленьких супругов». Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре.

Логичное ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен. Им надо противопоставить... что?.. Казалось бы, поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную?) «страсть» (почему не любовь?). Выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским.

Странно. Не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентски-крестьянский брак без любви пролетарскому браку с любовью» (24 января 1915).

И ей же: «Требование «свободы любви» советую вовсе выкинуть. Это выходит действительно не пролетарское, а буржуазное требование. Дело не в том, что Вы субъективно хотите понимать под этим. Дело в объективной логике классовых отношений в делах любви» (17 января 1915).

И опять ей: «Если уж непременно хотите, то и мимолетная связь-страсть может быть и грязная, может быть и чистая» (24 января 1915). «У нас опять дожди. Надеюсь, небесная канцелярия выльет всю лишнюю воду к Вашему приезду, и тогда будет хорошая погода» (4 июня 1915). «Крепко, крепко, крепко жму руку, мой дорогой друг».

И необходимость постоянно печатать свои очередные брошюры с очередными тезисами. Спустя два с лишним года, уже будучи вождем большевистского правительства, он будет давать такие распоряжения: «Реквизировать 30 тысяч ведер вина и спирта в винных складах. Есть ли бумажка от Военно-Революционного Комитета, чтобы спирт и вино не выливались, а тотчас были проданы в Скандинавию? Написать ее тотчас» (9 ноября 1917). А пока он не вождь, тов. Карпинскому: «Дорогой товарищ! Мы ужасно обеспокоены отсутствием от Вас вестей и корректур (моей брошюры). Неужели наборщик опять запил?» (20 февраля 1915).

Тов. Зиновьеву: «Не помните ли фамилию Кобы? Привет. Ульянов» (23 августа 1915).

Тов. Карпинскому: «Большая просьба: узнайте фамилию Кобы» (9 ноября 1915).

Все. Февральский переворот в России. Ленин: «Нервы взвинчены сугубо. Нужно скакать, скакать». «Мы боимся, что выехать из проклятой Швейцарии не скоро удастся». «Нужен отдельный вагон для революционеров». «Я могу одеть парик». «Хорошо бы потребовать у немцев пропуска — вагон до Копенгагена». «Почему бы нет? Я не могу этого сделать. А Трояновский и Рубакин и К^о могут. О, если бы я мог научить эту сволочь!» (март 1917).

Инессе Арманд: «Вы скажете, может быть, что немцы не дадут вагона. Давайте пари держать, что дадут». «Нет ли в Женеве дураков для этой цели?» (19 марта 1917).

«Германское правительство лояльно охраняло экстерриториальность нашего вагона. Привет. Ульянов.» (14 апреля 1917).

В письмах послезалповских, послеавроровских нет ничего триумфального. Напротив того: «Республика» в опасности. Необходимы срочные меры». Например, такие: «Нужно запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсеенко. Он должен называться просто тов. Овсеенко» (14 марта 1918).

«Аресты, которые должны быть произведены по указаниям тов. Петерса, имеют исключительно большую важность и должны быть произведены с большой энергией».

Тов. Зиновьеву в Петроград: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы узнали в ЦК, что в Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы их удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не-воз-мож-но!

Надо поощрить энергию и массовидность террора» (26 ноября 1918).

Тов. Сталину в Царицын: «Будьте беспощадны против левых эсеров и извещайте чаще». «Повсюду необходимо подавить беспощадно этих жалких и истеричных авантюристов» (7 июля 1918).

Тов. Сокольникову: «Я боюсь, что Вы ошибаетесь, не применяя строгости. Но если Вы абсолютно уверены, что нет сил для свирепой и беспощадной расправы, то телеграфируйте» (24 сентября 1918).

В Пензенский губисполком: «Необходимо провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Телеграфируйте об исполнении» (9 августа 1918).

Тов. Федорову, председателю Нижегородского губисполкома: «В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п.

Ни минуты промедления» (9 августа 1918).

Не совсем понятно, кого же убивать. Проституток, спаивающих солдат и бывших офицеров? Или проституток, спаивающих солдат, а уже отдельно — бывших офицеров? И кого стрелять, а кого вывозить? Или вывозить уже после расстрела? И что значит «и т.п.»?

«...будьте образцово-беспощадны».

Тов. Шляпникову, в Астрахань: «Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять астраханских взяточников и спекулянтов. С этой сволочью надо расправиться так, чтобы на все годы запомнили» (12 декабря 1918).

Телеграмма в Саратов, тов. Пайкесу: «Расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты» (22 августа 1918).

Тов. Сталину, в Петроград. «Вся обстановка белогвардейского наступления на Петроград заставляет предполагать наличность в нашем тылу, а может быть, и на самом фронте организованного предательства. Только этим можно объяснить нападение (Юденича) со сравнительно незначительными силами, стремительное продвижение вперед.

Просьба обратить усиленное внимание на это обстоятельство, принять экстренные меры для раскрытия заговоров» (27 мая 1919).

«Предупреждаю, что за это председателей губисполкома и членов исполкома буду арестовывать и добиваться их расстрела» (20 мая 1919).

Тов. Зиновьеву: «Вы меня зарезали!» (7 августа 1919).

В отдел топлива Московского Совдепа: «Дорогие товарищи! Можно и должно мобилизовать московское население поголовно и на руках вытащить из леса достаточное количество дров (по кубу, скажем, на взрослого мужчину).

Если не будут приняты героические меры, я лично буду проводить в Совете Оборона и в ЦК не только аресты всех ответственных лиц, но и расстрелы. Нетерпимы бездеятельность и халатность.

С коммунистическим приветом. Ленин» (18 июня 1920).

В Президиум Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов: «Дорогие товарищи! Вынужден по совести сказать, что ваше постановление так политически безграмотно и так глупо, что вызывает тошноту. Так поступают только капризные барышни и глупенькие русские интеллигенты.

Простите за откровенное выражение моего мнения и примите коммунистический привет от надеющегося, что вас проучат тюрьмой за бездействие» (12 октября 1918).

Глебу М.Кржижановскому: «Мобилизовать всех без изъятия инженеров, электротехников, всех кончивших физико-матем. факультеты и пр. Обязанность: в неделю не менее 2 лекций, обучить не менее 10 (50) человек электричеству. Исполнить — премия. А не исполнить — тюрьма» (декабрь 1920).

Тов. Чичерину: «Пусть Сталин поговорит начистоту с турецкой делегацией».

Получает донос на врачей, комиссующих раненых красных солдат, когда те еще «вполне способны воевать»: «...организовать тайный надзор и слежку за поведением этих врачей, чтобы изобличить их, собрав свидетелей и документы, а потом предать суду» (20 ноября 1918).

В ответ на жалобу М.Ф.Андреевой относительно арестов интеллигенции: «Нельзя не арестовывать, для предупреждения заговоров, всей этой околкадетской публики. Преступно не арестовывать ее. Лучше, чтобы десятки и сотни интеллигентов посидели деньки и недельки. Ей-ей, лучше» (18 сентября 1919).

Максиму Горькому о том же: «Короленко ведь почти меньшевик. Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками». «Нет, таким «талантам» не грех посидеть недельки в тюрьме». «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за сверже-

ние буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно» (15 сентября 1919).

Тов. Крестинскому: «Брошюра напечатана на слишком роскошной бумаге. По-моему, надо отдать за эту трату роскошной бумаги и типографских средств под суд, прогнать со службы и арестовать кого следует» (2 сентября 1920).

«Неумный человек или саботажник ее редактировал?»

Тов. Сталину в Харькове: «Пригрозите расстрелом этому неряхе, который, заведая связью, не умеет дать Вам хорошего усилителя и добиться полной исправности телефонной связи со мной» (16 февраля 1920).

Тов. Каменеву: «По-моему, нужен секретный циркуляр против клеветников, бросающих клеветнические обвинения под видом «критики» (5 марта 1921).

Смольный, Зиновьеву: «Знаменитый физиолог Павлов просится за границу. Отпустить за границу Павлова вряд ли рационально, так как он и раньше высказывался в том смысле, что, будучи правдивым человеком, не сможет, в случае возникновения соответственных разговоров, не высказаться против Советской власти и коммунизма в России.

Ввиду этого желательно было бы, в виде исключения, предоставить ему сверхнормальный паек» (25 июня 1920).

Каменеву и Сталину: «Опасность, что с сибирскими крестьянами мы не сумеем поладить, чрезвычайно велика и грозна, а т. Чущаев несомненно слаб, при всех его хороших качествах, — он совершенно незнаком с военным делом» (9 марта 1921).

Л. Каменеву, Троцкому, Цюрупе, Шляпникову, Рыкову, Томскому: «Прошу вас собрать совещание наркомов — об оздоровлении фабрик и заводов путем сокращения количества едоков» (2 апреля 1921).

В Совет Труда и Оборона: «Перетряхнуть Московский гарнизон, уменьшив количество и повысив качество».

Тов. Серебровскому: «Если у Вас в Баку есть еще следы (хотя бы даже малые) вредных взглядов и предрассудков (среди рабочих и среди интеллигентов), пишите мне тотчас. Беретесь ли Вы сами разбить эти предрассудки и добиться лояльности или нужна моя помощь» (2 апреля 1921).

Тов. Брюханову: «Сейчас же начать кампанию беспощадных арестов за нерадение. (...) ПКПрод должен установить по губерниям и по уездам ответственных лиц, чтобы знать, кого сажать» (25 мая 1921).

Тов. Преображенскому: «Что он реакционер, охотно допускаю. Но их надо иначе изобличать. Изобличи на точном факте, поступке, заявлении. Тогда посадим.

Надо выработать приемы ловли спецов и наказания их» (19 апреля 1921).

Очень мило. В. Молотову: «Уволить Абрамовича тотчас.

Федоровскому представить объяснения, как он мог принять на службу Абрамовича.

Федоровского за это наказать примерно» (10 июня 1921).

И шуточки: «Тов. Цюрупа! Не захватите ли в Германию Елену Федоровну Размирович? Крыленко очень обеспокоен ее болезнью. Здесь вылечиться трудно, а немцы выправят. По-моему, надо бы ее арестовать и по этапу выслать в германский санаторий. Привет! Ленин» (7 апреля 1921).

И без шуток: «Если после выхода советской книги ее нет в библиотеке, надо, чтобы Вы (и мы) с абсолютной точностью знали, кого посадить» (тов. Литкенсу, 17 мая 1921).

Тов. Горбунову: «Ведь есть ряд постановлений СТО об ударности Гидроторфа. Явно, они забыты. Это безобразие! Надо найти виновных и отдать их под суд» (10 февраля 1922).

Тов. Каменеву: «Почему это задержалось? (Имеется в виду печатание ленинских «Тезисов о внешней торговле».) Ведь я давал сроку 2—3 дня! Христа ради, посадите Вы в тюрьму хоть кого-нибудь. Ваш Ленин» (11 февраля 1922).

Наши дома загажены подло. Надо в 10 раз точнее и полнее указать ответственных лиц и сажать в тюрьму беспощадно» (8 августа 1921).

«От Центропечати требуйте быстрой рассылки «Наказа СТО», иначе я их посажу».

«Позвоните Беленькому и скажите, что я зол». А Брюханову и Потяеву: «Если еще раз поссоритесь, обоих прогоним и посадим» (август 1921).

«Медленно оформляли заказ на водные турбины! В коих у нас страшный недостаток! Это верх безобразия и бесстыдства! Обязательно найдите виновных, чтобы мы этих мерзавцев могли сгноить в тюрьме» (13 сентября 1921).

«Из новых книг я получил из Госиздата: С. Маслов. «Крестьянское хозяйство». Из просмотра видно, что насквозь буржуазная, пакостная книжонка, одурманивающая «ученой» ложью.

Либо дурак, либо саботажник злостный мог только пропустить эту книгу.

Прошу расследовать и назвать мне всех ответственных за редактирование и выпуск этой книги лиц» (7 августа 1921).

О Прокоповиче и Кусковой: «Газетам дадим директиву завтра же начать на сотню ладов и изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев».

Наркомату почт и телефонов: «Обращаю ваше серьезное внимание на безобразии с моим телефоном из деревни Горки.

Посылаемые вами лица мудрят, ставят ни к чему какие-то особенные приборы. Либо они совсем дураки, либо очень умные саботажники».

Бедняга профессор Тихвинский, управляющий петроградскими лабораториями Главного нефтяного комитета. Одной фразы Ильича было достаточно: «Тихвинский не случайно арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга» (сентябрь 1921). Расстрелян в 1921 году.

В Главное управление угольной промышленности: «Имеются некоторые сомнения в целесообразности при-

менения врубовых машин. Тот производственный эффект, который ожидает от применения врубовых машин тов. Пятаков, явно преувеличен. Киркой лучше и дешевле» (август 1921).

В комиссию Киселева: «Я решительно против всякой траты картофеля на спирт. Спирт можно и должно делать из торфа. Надо это производство спирта из торфа развить» (11 сентября 1921).

Это напоминает нам деловую записку от 26 августа 1919-го.

«Сообщите в Научно-пищевой институт, что через 3 месяца они должны представить точные и полные данные о практических успехах выработки сахара из опилок».

Ну, это ладно. Воображаю, как вытягивались мордасы у наркома просвещения Анатолия Луначарского, когда он получал от вождя такие депеши: «Все театры советую положить в гроб» (ноябрь 1921).

Или телеграммы: «Какие вопросы вы признаете важнейшими, а какие — ударными? Прошу краткого ответа» (8 апреля 1921).

Для Политбюро ЦК РКП (б): «Узнал от Каменева, что СНК единогласно принял совершенно неприличное предложение Луначарского о сохранении Большой Оперы и балета» (12 января 1922).

Раздражение еще вызывают поэт Маяковский и Народный комиссариат юстиции.

Тов. Богданову: «Мы еще не умеем гласно судить за поганую волокиту. За это весь Наркомюст надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что всех нас когда-нибудь за это поделом повесят» (23 декабря 1921).

Тов Сокольникову:

«Не спит ли у нас НКЮст? Тут нужен ряд образцовых процессов с применением жесточайших кар. НКЮст, кажись, не понимает, что новая экономическая политика требует новых способов, новой жестокости кар. С коммунистическим приветом. Ленин» (11 февраля 1922).

Начинается изгнание профессуры.

Каменеву и Сталину: «Уволить из МВТУ 20—40 профессоров. Они нас дурачат» (21 февраля 1922).

Ф.Э.Дзержинскому: «К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров. Надо это подготовить тщательнее. Обязать членов Политбюро уделять 2—3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг. Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручите все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ. Не все сотрудники «Новой России» — кандидаты на высылку за границу. Другое дело питерский журнал «Экономист». Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 напечатан на обложке список сотрудников. Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг, шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих вредителей изловить и излавливать постоянно и систематически высылать за границу.

Прошу показать это секретно, не разглашая, членам Политбюро с возвратом Вам и мне» (10 мая 1922).

А тов. Кржижановский, которому поручено было 10—15 человек обучить электричеству, надорвался и тоже захотел в Европу.

Тов. Сталину: «Прошу немедленно поручить НКинделу запросить визу для въезда в Германию Глеба Максимилиановича Кржижановского и его жены Зинаиды Павловны Кржижановской.

Речь идет о лечении грыжи.

С коммунистическим приветом. Ленин» (24 апреля 1922).

А тов. Иоффе обязан лечить в Европе свой нервический недуг, который заключается вот в чем.

Тов. Иоффе: «Во-первых, Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что ЦК — это я. Такое можно писать только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления.

Зачем же так нервничать, что писать совершенно невозможную фразу, будто ЦК — это я? Это переутомле-

ние. Отдохните серьезно. Обдумайте, не лучше ли за границей. Надо вылечиться вполне» (17 марта 1921).

И тут же следом — Г.М.Кржижановскому: «Я должен носом тыкать в мою книгу, ибо иного плана серьезного нет и быть не может» (5 апреля 1921).

А тов. Чичерин вовсе и не просил о лечении, но получилось так: тов. Чичерин представлял нашу державу на Генуэзской конференции с только недавно опубликованным напутствием Ленина: «Нашу ноту по поводу отсрочки Генуэзской конференции следует составить в самом наглом и издевательском тоне, так, чтобы в Генуе почувствовали пощечину. Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью. Нельзя упускать случая» (25 февраля 1922).

В. Молотову: «Я сейчас получил 2 письма от Чичерина. Он ставит вопрос о том, нельзя ли на Генуэзской конференции за приличную компенсацию (продовольственная помощь и пр.) согласиться на маленькие изменения нашей Конституции, именно представительство других партий в Советах. Сделать это в угоду американцам.

Это предложение Чичерина показывает, по-моему, что его надо лечить, немедленно отправить в санаторий» (23 января 1922).

И через день тому же Молотову: «Это и следующее письмо Чичерина явно доказывает, что он болен и сильно болен. Мы будем дураками, если тотчас и насильно не сошлем его в санаторий» (24 января 1922).

И в заключение — два негромких аккорда. Первый из них вызывает слезы, второй — тоже.

Тов. Уншлихту: «Гласность ревтрибуналов (уже) не обязательна. Состав их усилить Вашими людьми, усилить их всяческую связь с ВЧК, усилить быстроту и силу их репрессий. Поговорите со Сталиным, покажите ему это письмо» (31 января 1922).

Тов. Каменеву: «Не можете ли Вы распорядиться о посадке цветов на могиле Инессы Арманд?» (24 апреля 1921).

Москва, 5—6 февраля 1988

ФАННИ КАПЛАН

(НЕОКОНЧЕННОЕ СОЧИНЕНИЕ)
ТРАГЕДИЯ В ПЯТИ АКТАХ

Вот сложился круг действующих в драме лиц:

- Мишель Каплан — хозяин заведения — Приемного Пункта Посуды, в котором он живет, и действие происходит на исходе 2-го дня Его белой горячки. Почему его «смердный дом» народ называет «Мавзолеем».
- Лжедмитрий I — его полоумные подсобники-подручные, приемщики винной посуды.
- Лжедмитрий II — любовница Каплана.
- Роза — любимая дочь Каплана с врожденным, но трогательным идиотизмом.
- Фанни Каплан — в конце гибнет под грузом ящиков с бутылками, которые падают от падения неузнаваемого человека в «сером».
- Юродивый Виталик — возраста непостижимого; постоянная поставщица бутылок, подруга Розы.
- Аспазия в валенках — товарка Аспазии с соседней территории по сбору бутылок (старуха).
- Прозерпина (с рюкзаком под мышкой) — член КПСС «дядя Валера».
- Человек в «сером» — член КПСС «дядя Валера».
- Рыжий детина по кличке «Мамзелька».
- Остальные — диссиденты в очень разной степени умственной прострации.
- «Длинный перечень» (очередь) — так и не появляющиеся, чтобы действия «не оживлять».

«Ни одного героя — кроме Фанни — ни одного в разумном здравии и это хорошо, потому что я в добром здравии за жизнь не встречал отнизу доверху».

Постоянно тревожно.

Музыка в трагедии не исполняется. А приводится в исполнение. Пьеса кончится сокрушительно. Не останется никого — НИКОГО? — никого.

— А зачем НИКОГО? — А зачем оставаться. Жребий брошен. Круг очерчен. Корабли сожжены.

<...> I акт

Очень бойко принимают посуду Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Но слишком часто закрывают «окошко» и размышляют о судьбах Вселенной под Грохот и Стуки в окошко. Обычно они справляются о времени у сидящего на полу Виталика:

— Виталик! Набери номер королевы Нидерландов Беатрикс и узнай — пора ли открывать лавочку. — Виталий снимает тапочек — прикладывает к уху — долго молчит — как в телефонную трубку. — Пора!

Внутренняя архитектура приемного пункта. Сдвоенные, счетверенные ряды ящиков уходят вдаль, меж ними остаются мокрые и нечистые пустоты — превосходные места для действия, поскольку почти совершенно скрыты от зрителя. Да и зачем зрителю видеть всё? Ему лучше б вообще ничего не видеть. Такого же суждения и приемщики — Лжедмитрий I и II: окошечко приема такое махонькое, что сдающим посуду занудам приходится пропихивать свой товар, изогнувшись в поясе, а посуде — продвигаться к Лжедмитриям, лёжа на боку.

Пока это окошко наглухо закрыто, но остается средоточием I-го акта. Лжедмитрий I и Лжедмитрий II сидят от него на расстоянии и беседуют вот о чем:

Л ж е д м и т р и й I: И ты никуда-никуда весь вечер не выходил, Дима, и ничем-ничем не занимался? Ха-ха-ха... Ведь этот фармазон, который отбил у тебя твою белую пупочку...

Л ж е д м и т р и й II: Не говори мне об этом, Митя. И что значит: ничем-ничем не занимался? Я сокрушен был сердцем. А разве это не занятие? И так начиналось крушение: я погрустил, погрустил, потужил-потужил, а

потом кручиниться начал. Кручинился-кручинился, а потом начал сызнова тужить, но еще без сокрушения сердца. И вот так часа 2—3 грустил, как Богоматерь, как вдруг почувствовал в себе прилив какой-то новой кручины... И от этого совсем пригорюнился... Какое качество, Митя, ты больше всего ценишь в человеке?.. скажи мне...

Лжедмитрий I: Пожалуй, незадачливость. Я и тебя за это люблю. И матушку-Родину люблю за то же самое. Но ты ведь юн, а Родина готовится к своей кончине... Теперь входит в моду всё на свете делать посмертно. Так вот: я бы, посмертно, лишил мою Родину ее материнских прав.

Лжедмитрий II: Ты, Митя, бездуховен и свиреп... Нельзя же...

Лжедмитрий I: Это я! — я-то свиреп и бездуховен!? Даже Капкан сказал мне, что духовных запросов у меня до ..я и больше. А высших упований — что собак нерезанных! А святых порывов — столько, что их до Ленинграда раком не переставить!..

Лжедмитрий II: Митя!.. *(с укоризною)*.

Лжедмитрий I: Ничего, ничего. Отчизна дышит на ладан, мне это понятно, как день. Как ее последний день. И кто там кого в этом обгонит, мне понятно тоже. Украина лидирует у нас по близорукости, Молдавия — по столбняку, Приморский край — по клещевому энцефалиту, Кольский полуостров — по аппендициту, Литва — по ревматизму. Якутия — по мочекаменным болезням, а Северная Осетия — по эндемическому зобу. А столица Москва — по функциональным расстройствам, психозам и реактивным состояниям. И грамотность не спасет. Да и о какой грамотности можно ляпать, коли уж мы живем в стране, где 99% взрослого населения ни разу в жизни не прочли и не слышали ни одной строчки Евангелия!..

Лжедмитрий II: Митя!.. ты сегодня еще не прочищал горла. Может, оттого у тебя такие колокотания и мизантропизмы?..

Лжедмитрий I: А что — у Каплана есть чего?

Лжедмитрий II: В маленьком столике: Киндзмараули.

Лжедмитрий I: О, ...мать! А что это такое?

Лжедмитрий II: Киндзмараули — это почти что хванчакара!

Лжедмитрий I: Почти хванчакара?

Лжедмитрий II: Почти хванчакара!

Лжедмитрий I: Волоки.

(За наглухо закрытым окошком приема начинаются по-немногу мягкие щелчки и стуки и оппозиционные шёпоты).

Лжедмитрий I: Киндзмараули! Хванчакара!

Лжедмитрий II: *(появляясь)*: Хванчакара. Но почему-то в банке!..

Лжедмитрий I: Какая нам разница! Хоть в плевательнице!.. К горячим рыбным блюдам следует подавать Су-псех, Абрау-Рислинг, Гурджаани, Цинандали, Алькадар, Сильванер и Баян-Ширей. А вот уже к филе, эскалопу, антрекотам и лангусту смело подавай Телиани, Саперави, Мукузани и Каберне.

Лжедмитрий II: А — если артишоки?

Лжедмитрий I: Что артишоки?

Лжедмитрий II: Ну, может, не артишоки, а дичь, цыплята, миндаль...

Лжедмитрий I: А миндаль зачем?

Лжедмитрий II: Да уж так: подали жареный миндаль... И вот — перед тобой миндаль...

Лжедмитрий I: Тогда чхавери!

Лжедмитрий II: Чхавери и киндзмараули!

(Оба пьют, но по харям их видно, что это не киндзмараули и не чхавери, а что-то тошнотворнее и крепче.)

Лжедмитрий I: Вот это, миленький, точно киндзмараули. Ты еще больше почернел и вытянулся. А я, хоть и вытянулся, но светлее стал. Нас с тобой не спутаешь, и вот почему. Я длинен, как летний день, а ты, как зимняя ночь, длинен. И ещё разница: если тебя встретят темной полночью, то потребуют от тебя часы, и ты их отдашь, скажешь только: «Мерси боку» или что-ни-

будь такое. А если встретят меня — сами молча снимут с себя свои часы и отдадут мне. А я молча положу их в карман и скажу: «Вот и прекрасно. Вундербар». А он мне: «Чего-чего?» — «Ничего, — скажу, — вундербар». Нас поэтому и Роза даже в темноте различает. Заметил?

Лжедмитрий II: Как это могла она в темноте различить, если я ни разу не видел ее в темноте?

Лжедмитрий I: А на свету — видел?

Лжедмитрий II: Видел... А за левым ухом у нее родинка — отчего?

Лжедмитрий I: А это потому, что страстная очень.

Лжедмитрий II: А волоски из носопыри?

Лжедмитрий I: Ну, это уж точно — страстная, Дима, дальше некуда...

Лжедмитрий II: А за правым ухом родинки нет — это как понять?

Лжедмитрий I: Это значит, такая страстная, что и Спасу никакого нет, потому и пусто за правым ухом...

Лжедмитрий II: А почему пониже щиколотки?..

Лжедмитрий I (*прерывает его*): Ну, ты как Васютка-Говнодав. Ему вообще пить нельзя: он от этого сразу падает в обморок. Особенно если пьет в бабьей компании — они его так корёжат, они его так пронзают, что он берет и шлепается в обморок. В один из этих обмороков он подхватил себе гонорею... а потом — вторую..

Лжедмитрий II: Это уж во время второго обморока?..

Лжедмитрий I: Да нет. Уже первого...

Лжедмитрий II: А я при дамах не падаю в обморок. И когда я первый раз услышал ее — я затаил дыхание, я слух и зрение затаил. Я затаил испускание и пот, пищеварение затаил, а ей — что ей — индифферентная баба, беспорывная баба! снежная баба!

Лжедмитрий I: А это потому, что ты при ней не выпил.

Лжедмитрий II: А если б выпил?

Лжедмитрий I: Была б не беспорывной! Только пить надо не киндзмараули, а что-нибудь полегче, Алиго-

тэ. Алиготэ — это лучше, чем либертэ, эгалитэ, фратер-
нитэ. Как ты думаешь?

Л ж е д м и т р и й II: Нет, не пить ничего совсем, как
сказал Сомерсет Моэм.

Л ж е д м и т р и й I: Никогда не следует пить бросать,
сказала Эдит Пиаф, известная французская блядь. А уж
если нельзя не пить, то пить только молдавский белый
портвейн, сказал любимый пианист Владимира Ильича
Ульянова Исайя Добровейн.

Л ж е д м и т р и й II: Или Шерри-бренди, сказала бы
Индира Ганди.

Л ж е д м и т р и й I: *(с сарказмом)*: Очень складно!
Митя. Тогда уж давай, как сказал Акакий Церетели,
продолжим Киндзмараули!

Пока Лжедмитрий II в бегах, стуки в приемное
окошко. Выкрики: «Уже 15 минут третьего». Это зна-
чит: «расстреливать каждого третьего приемщика».
«Когда будет Каплан? — Стрелять таких приемщиков».

Л ж е д м и т р и й II: *(притаскивает вторую банку кин-
дзмараули)*:

Когда легковерен и молод я был,
Российскую водку я очень любил,
Московскую водку я очень любил,
Кубанскую водку я очень любил,
Ну, да и перцовую тоже любил.

Когда ж легкомыслен я быть перестал
Московскую водку я пить перестал,
(и всё аккорды, аккорды)
Стрелецкую водку я пить перестал,
Российскую водку я пить перестал.

А всё почему? —

И вдруг — словно замер мой конь на бегу
Стрелецкую водку достать не могу,
Российскую водку найти не могу,
Донскую Степную купить не могу.
А что за причина — понять не могу.

Л ж е д м и т р и й I: И как тебя занесло в приемщики
посуды? Ты с детства лелеял эту мечту — или эту мечту

ты начал лелеять после детства, или вообще никогда не лелеял?

Лжедмитрий II: Как только начался, лелеял. Я вначале мечтал быть стеклодувом, потом — фальшиво-монетчиком, вампиром — а потом опять стеклодувом! И прекрасной дамой! И...

Лжедмитрий I: Ну я понимаю: «прекрасной дамой». Но зачем же стеклодувом?! Тогда уж Моцартом! Вот тут у нас в очереди, третий год подряд, стоят сплошные Моцарты и очередь длится 2—3 часа, и Сальери ее принимает, пиздобол с тремя жигулями, ну а что Моцартам жигули? Им нужна неотложная отравка, алгебра и гармония.

<...> Лжедмитрий I: И заебись, кто не понимает.

Мы чувствуем локоть друг друга
И сердце пылает огнем...

Ты, Дима, любишь музыку Сигизмунда Каца?
Лжедмитрий II (*мурлычет*):

Ах, эти девушки в трико так ранят сердце глубоко.

И в самом деле. На мне, как мачта, длинном, она повисла как парус и я поплыл. <...>

<...> — Каплана сейчас не ищите.

— Т.е. он еще не пришел?

— Ну... как сказать... прийти-то он пришел, но его нету.

— Он в мире чистых сущностей. Тсс!

— Т.е. пришел и ушел?

— Он никуда не уходил. Люди, которые живут в мире чистых сущностей, вообще никуда не уходят.

— Но приходит-то они приходят?

— Случается.

— И часто случается?

— Часто случается.

— Может, и сегодня случится?

— Может, случится и сегодня... <...>

<...> Блюститель, уже в 1-м действии: «Так будут сегодня диссиденты?»

Л ж е д м и т р и й I: А кто их знает, вы же этот народ обсосали кругом — возьмут да будут. А возьмут — не будут <...>

<...> — А, вот эта, гладкая — она о чем говорила?

— О! Она ведет с кем-то феноменологическую переписку. Она говорит, что устала быть экстравертированной. Но интровертированность ей не дается. Всякий раз, когда заходит речь об андрогенной монаде...

— А о ней часто заходит речь?

— Очень часто. <...>

<...> — А сам ты принимал участие?

— Принимал.

— Как именно?

— Я читал запретные стихи.

— С чего же ты взял, что они запретные!

— А мне надавали по шее.

— Кто?

— Как кто? Диссиденты!

— А ну-ка, что за стихи?

Лжедмитрий откашливается. Делает позу:

Рабочий класс колонны вывел
В олимпиады и на стадионы,
Заменим звоном шагов в коллективе
Колоколов идиотские звоны.
Мы пафосом новым уьемся допьяна,
Вином — своих не ослабим волю!
Долой из жизни

два опиума:

Бога — и алкоголь!.. <...>

<...> — А один сказал: в Мадриде есть чего кушать безработным тореро. А я — нет, сказал, в городе Мадриде совершенно нечего кушать безработным тореро. (Мы немножко подиспутировали в Париже.)

Лжедмитрий II: Не могу не молчать — так я им сказал. <...>

<...> Так отчего же они Лжедмитрии?

— I-й вот почему. Потому что родился в Угличе и звать его Григорий (т.е. в детстве наречен Григорием). А II-й родился на том самом месте, где некогда была та самая келья Чудова монастыря. И звать его в самом деле Митя. Так что не совсем понятно, почему он Лжедмитрий?

— Чего ж тут непонятно, если настоящий Лжедмитрий, т.е. Григорий, родился в Угличе?

Лжедмитрий I: В Угличе детей не рожают. В Угличе их режут.

— Помалкивай.

— А где это место, где был Чудов монастырь?

— Теперь это невозможно установить. Но единственное, что достоверно — оттуда убежал Григорий.

— Какой Григорий? Вот этот? (*пальцем в сторону Лжедмитрия I.*)

— Скорее всего. Потому что кому придет в голову родиться в том самом Угличе, с которого удобней всего начать интригу и затесаться в келью Чудова монастыря.

— Насколько мне и всем известно, Лжедмитрий I бежал из кельи Чудова монастыря, а не Лжедмитрий II.

— А откуда же сбежал Лжедмитрий II? Из Углича?

— А кто его знает? Сейчас, если перед тобой сидит человек, то видишь точно, что он откуда-то сбежал, а вот откуда точно он сбежал, ни одна сука не признается.

— Но ведь я-то ниоткуда не сбежал.

— А значит, это *не настоящий Лжедмитрий.*

— А коли так, почему позволяешь себе так говорить с «человеком»? <...>

<...> С «человеком» Лжедмитрий II — рассказывает о рыбной ловле (партийный дядя Валера).

— А кого и выловишь — сразу бросаешь назад в речку, потому что они противные, красные, да еще трепещут.

— Дядя Валера! Это ты на кого намекаешь? Красные — да. Но мы никогда не трепещем. А противные — это как для кого <...>

<...> — И эти у вас бывают... помните у Вл. Ильича: «в час народной расправы с чиновниками в рясах, с жандармами во Христе...

— Бывают, бывают... Точно уж такие жандармы во Христе. Единственное, что я в них заметил. Законопослушность. Курсивная, слишком подчеркнутая. Охолодостью это не назовешь, но ведь не назовешь и иначе <...>

<...> 2-й акт в основном состоит из бесед людей в сером с Лжедмитриями.

«Так этого Лжедмитрия I зарядили в пушку и стрельнули туда, откуда он пришел?»

— Да нет, нет, это был не Лжедмитрия I, это настоящим Димитрием зарядили пушку и пальнули не то в сторону Варшавы, не то Кракова, не то Сандомира.

— А откуда взялся настоящий Димитрий?

— А все оттуда же. Всё настоящее берется отсюда же, откуда всё ложное. Настоящий Димитрий, уже в стволе орудия признался, что никогда не был знаком с Мариной Мнишек. А раз не был знаком — значит, настоящий Димитрий. И еще он добавил: «Дура она, мать ее еб, я б зарезал ее ножиком, но все ножики продаются только в Угличе.

— Ну почему? В Угличе кого зарезали?

— Гришу.

— Гришу? А не Димитрия-младенца?

— Гришу!

— Ну, тогда я ёбнулся в вашем приемном пункте!.. <...>

<...> А с п а з и я: А разве я кого-нибудь трогаю? Даже иду когда, собачка какая-нибудь выскочит, я ей говорю: «С легким паром тебя, собачка». Только и всего.

— Это почему же это с легким паром?

— Ну, с каким паром? Если она всего-навсего маленькая собачка?.. <...>

<...> Блюститель: А вы — вы кто?

Фанни: Каплан (опустив глаза в вязание).

Блюститель: Каплан?

Фанни: Каплан.

Блюститель: Пока я ничего не понимаю<...>

<...> — Они мне вот: Россия погибает.

— Ну и пускай. Ей вроде бы к лицу. Никому бы так не пошло умереть, как ей. Причем, самым недостойным образом. Это входит, по-моему, в расчеты Господа Бога<...>

<...> Лжедмитрий I (*к клиентуре, продолжая ёрничать и прибаутничать*): Много пьете, дорогие товарищи, и честь вам, и хвала за это от товарища Бисмарка, железного канцлера. Он любил повторять: «Бог Всемогущий заботится только о младенцах, пьяницах и американцах».

Лжедмитрий II: Придурок-подсобник со второсортной физиономией.

Лжедмитрий I: А отсюда — прямо в винный отдел. Там стоит толстый Лёва Сальери: с усиками а-ля Бержерак, а в очередь к нему мнутся 40 моцартов.

Лжедмитрий II: (*о стуке за окном*): Феноменология духа! Не обращай внимания... <...>

<...> Каплан: А если они ворвутся, я сбегу на балкон и притворюсь цветочком. Они придут, посмотрят — а это что за цветочек вон на том горшке? А моя Светочка со страху скажет что-нибудь не то, вроде «палтус» или «хариус».

«А что это у него сбоку, у этого “палтуса”?» — «А это тестикулы — и по совместительству — узурпаторы» <...>

КОММЕНТАРИЙ

Антология поэтов общежития Ремстройтреста. Публикуется по машинописи из семейного архива наследников. О существовании рукописного источника ничего не известно. Антология составлена Ерофеевым из стихотворений, якобы написанных его соседями по общежитию Ремонтно-Строительного Треста на Красной Пресне. Вероятно, в 1958 году, в связи с отъездом Ерофеева на Украину, антология была передана им «на хранение» кому-то из друзей. По свидетельству Н.А.Шмельковой, фрагменты машинописи были возвращены писателю лишь осенью 1987 года: «Веничка сообщил новость. Опять приезжал к нему знакомый поляк, который в Вильнюсе нашел остатки утерянной «Антологии поэтов общежития Ремстройтреста», в котором одно время (57-й год) Ерофеев работал грузчиком. Веничка так заразил простых рабочих своей неподдельной любовью к литературе, что они сами начали писать стихи, а Ерофеев их обрабатывать. Так и появилась эта, составленная им «Антология», включившая и его стихи».

У моего окна. Публикуется по машинописи из семейного архива наследников. Рассказ написан во время обучения Ерофеева в Орехово-Зуевском Педагогическом Институте. Значительная часть текста утеряна и пока что не поддается восстановлению. Дата, стоящая под рассказом, — 18 апреля 1960 года, очевидно, указывает на день завершения произведения. Дневниковые записи Ерофеева за апрель 1960 года дают основания предполагать, что рассказ мог быть начат им во время болезни (в середине апреля Ерофеев перенес плеврит) и завершен к Пасхе.

По свидетельству соученицы по ОЗПИ и близкой подруги писателя Юлии Руновой, рассказ имел вариант названия «У моего стекла».

Письменная работа «Личное и общественное в поэме Маяковского «Хорошо!». Публикуется по ксерокопии рукописи из семейного архива наследников. Сочинение было написано Ерофеевым в июле 1961 года при поступлении на заочное отделение филфака Владимирского Государственного Педагогического Института (ВГПИ). Приемная комиссия оценила сочинение на «отлично».

Подвиг Асхата Зиганшина. Фрагменты незаглавленного стихотворения публикуются по рукописным воспоминаниям однокурсника Ерофеева по ВГПИ Геннадия Зоткина. Цитаты предваряет комментарий мемуариста: «<Ерофеев> прочитал нам стихотворение, написанное им еще по свежим следам «подвига» сержанта Асхата Зиганшина со товарищи на неуправляемой барже, которая 49 дней провела в безбрежном океане... Кстати, после первого прочтения стихотворения Венедикт по просьбе «архивного юноши» медленно, под запись, повторил его, и тот записал эту «басню» в свой блокнот... Со временем середина стихотворения выветрилась из моей памяти, осталось лишь несколько строк... Заканчивалось это ерофеевское произведение тем, что в критический момент... один из солдат на барже встает и, как водится в доблестных войсках, решает пожертвовать собой ради спасения жизней своих товарищей по оружию».

События с участием А.Зиганшина разворачивались в марте 1960 года, когда Ерофеев обучался в Орехово-Зуевском Институте. Возможно, стихотворение было написано именно тогда.

Благая весть. Очевидно, повесть задумывалась и была начата Ерофеевым в 1960 году, в период обучения в Орехово-Зуевском Педагогическом Институте (ОЗПИ), и завершена весной 1962 года во Владимире. По свиде-

тельству автора, написана под сильным влиянием Ницше (от себя добавим — и под влиянием романа Анатоля Франса «Восстание ангелов») и в середине 60-х «сгинула где-то в Тульской области». В середине 80-х годов Ерофееву были возвращены несколько машинописных страниц, содержащих первые четыре главы повести (после смерти писателя они вновь затерялись). Фрагменты пятой главы были доставлены в Москву итальянским исследователем творчества Ерофеева Гарио Дзаппи в 2000 году. Финальные строки тринадцатой главы воспроизводятся по опубликованным воспоминаниям И.Авдиева и Б.Сорокина — близких друзей писателя, читавших полный вариант «Благой вести». Эпиграфы цитируются по рукописным воспоминаниям однокурсника Ерофеева по ВГПИ Геннадия Зоткина.

«Я вышел из дому...» (Василий Розанов). Эссе написано Ерофеевым для патриотического альманаха «Вече» в июне 1973 года, в г. Царицын. Тогда же Ерофеев собирался написать статью о Набокове, однако намерения своего не выполнил. Эссе о Розанове появилось в альманахе под редакционным заголовком: «Василий Розанов глазами эксцентрика». Впоследствии, по настоянию В.Муравьева, готовившего текст Ерофеева к печати, «чужой» заголовок был снят и заменен на: «Проза из журнала «Вече». Следуя текстологическим канонам, мы озаглавили текст по первой строке, убрав оба «чужих» заголовка и прибавив в скобках «Василий Розанов» — специально для неискушенного читателя. Текст эссе выверен нами по рукописной авторской правке, выполненной на экземпляре альманаха «Вече» в 1973 году.

«Саша Черный и другие». Эссе впервые опубликовано в журнале «Театр» (№ 9, 1991). Текст был доставлен в редакцию журнала вдовой Ерофеева вместе с выдержками из записных книжек. Со смертью Г.Ерофеевой в 1993 году рукописный оригинал (или машинописная копия) был утерян. Судя по некоторым воспоминаниям современников Ерофеева и его дневниковым записям,

эссе о Саше Черном было задумано еще в начале 70-х годов. Однако свое намерение писатель осуществил лишь десять лет спустя.

«Нобелевский комитет ошибается...» (Об Иосифе Бродском). Текст без названия написан в декабре 1987 года для издательства «Серебряный век». Судьба публикации неизвестна.

Н.А. Шмелькова в своих мемуарах упоминает об этой истории: «Знакомлю Ерофеева с приехавшей из Нью-Йорка моей кузиной — журналисткой и литературным критиком Лилей Панн. Она обращается к нему с просьбой от издательства «Серебряный век» написать хоть немного о Бродском по случаю присуждения ему Нобелевской премии. После продолжительных уговоров Ерофеев передает ей текст, построенный на дневниковых записях — отзывах своих знакомых о поэзии Бродского».

Моя маленькая лениниана. Текст написан для журнала «Континент» и завершен 6 февраля 1988 года. Как свидетельствуют друзья и записные книжки Ерофеева, вслед за «Ленинианой» должна была последовать подборка цитат из биографий К.Маркса и Ф.Энгельса, однако работа так и не была завершена.

Фанни Каплан (трагедия в пяти актах). Фрагменты публикуются по машинописи из семейного архива наследников. Рукописный оригинал, очевидно, утерян. Пьеса «Фанни Каплан, или Диссиденты» (она же — «Ночь на Ивана Купала») задумывалась писателем как первая часть трилогии «Drei Nachte» («Три ночи»). Вторая часть («Вальпургиева ночь, или Шаги командора») была написана в 1985 году и неоднократно переиздавалась и инсценировалась. Третья — «Ночь перед Рождеством» — так и не была начата. Тяжелая болезнь и семейные проблемы не позволили писателю довести работу над «Диссидентами» до конца. Публикуемые фрагменты, вероятно, были написаны в 1988—1990 гг., незадолго до смерти писателя.

Содержание

| | |
|---|----|
| Антология поэтов общежития ремстройтреста | 5 |
| У моего окна | 16 |
| Подвиг Асхата Зиганшина | 21 |
| Письменная работа | 22 |
| Благая весть | 25 |
| «Я вышел из дому...» | 38 |
| Саша Черный и другие | 58 |
| «Нобелевский комитет ошибается...» | 60 |
| Моя маленькая лениниана | 62 |
| Фанни Каплан | 76 |
| <i>Комментарий</i> | 87 |

Венедикт Ерофеев
МАЛАЯ ПРОЗА

Редактор

Игорь Захаров

Художник

Григорий Златогоров

Верстка

Кирилл Лачугин

ISBN 5-8159-0448-1



9 785815 904484

Директор издательства Ирина Евг. Богат

Издатель Захаров

Лицензия ЛР № 065779 от 1 апреля 1998 г.
121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9
(Рядом с Никитскими Воротами,
отдельный вход в арке)

Тел.: 291-12-17, 258-69-10

Факс: 258-69-09

Наш сайт: www.zakharov.ru

E-mail: zakharov@dataforce.net

Подписано в печать 11.11.2004. Формат 84×108 ¹/₃₂.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 5,04. Тираж 5000 экз. Изд. № 448. Заказ № 754.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ФГУИПП «Уральский рабочий».
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
<http://www.uralprint.ru>
e-mail: book@uralprint.ru

КНИГИ «ЗАХАРОВА» В РОЗНИЦУ
Самый полный ассортимент и минимальные цены!

**КНИЖНАЯ ЛАВКА
ПРИ ЛИТЕРАТУРНОМ ИНСТИТУТЕ
ИМЕНИ А.М.ГОРЬКОГО
(ООО «СТАРЫЙ СВЕТ»)**

103104, Москва, Тверской бульвар, 25
(вход только с ул. Большая Бронная,
метро «Пушкинская», «Тверская»)

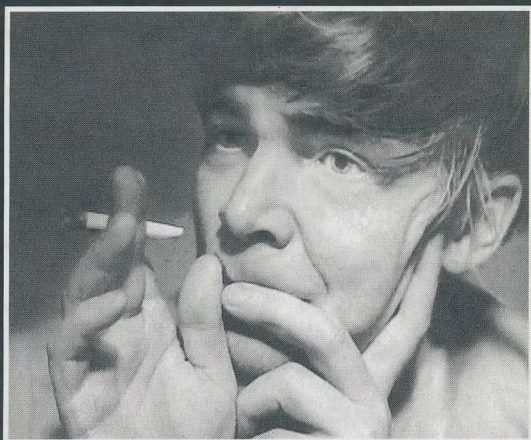
понедельник—пятница с 11.00 до 19.00
суббота с 12.00 до 17.00

тел.: (095) 202-8608; e-mail: vn@ropnet.ru

На территории США и Канады книги
издательства «Захаров» оптом и в розницу
можно приобрести по адресу:

**Petropol, Inc.
1428 Beacon Street
Brookline, MA 02446
(617)232-8820**

**Интернет магазин:
WWW.PETROPOL.COM**



« — Ты знаешь, какие они крепыши, все русские теперешние. Никто в России не боится щекотки, я один только во всей России хохочу, когда меня щекочут. Я сам щекотал трех девок и с десятков мужичков — никто не отозвался ни ужимкой, ни смехом. Я ребром ладони лупил им всем по колену — никаких сухожильных рефлексов. Зрачки на свет, правда, реагируют, но слабо. Ни у кого ни одного камня в почках, никакой дрожи в коленках, ни истомы в сердце, ни белка в моче».